

A. Meyer

E. Kempel

humor\_prose Илья Арнольдович Ильф Евгений Петрович Петров Рассказы, очерки.  
Фельетоны (1929–1931)

Рассказы и фельетоны Ильфа и Петрова, собранные в этом томе, были написаны в трехлетний период, отделявший роман «Двенадцать стульев» от романа «Золотой теленок». Большая часть публикуемых здесь произведений впервые появилась на страницах еженедельного сатирического журнала «Чудак», в котором писатели сотрудничали на всем протяжении его существования, с декабря 1928 года по март 1930 года. 1929–1931 гг  
Леда777 doc2fb, FictionBook Editor Release 2.6 2013-12-06 Леда777  
AE4B65E2-288F-4406-947A-76FF8E1B1C93 1.0

1.0 — создание файла Леда777 Собрание сочинений. Том 2 Государственное издательство художественной литературы Москва 1961 В том 2 вошли: "Золотой теленок". Рассказы, очерки. Фельетоны (1929–1931) Рисунки художника Б. Ефимова Под редакцией А. Г. Дементьева, В. П. Катаева, К. М. Симонова Примечания Б. Е. Галанова Редактор И. Израильская Художественный редактор Ю. Васильев Технический редактор Л. Сутина Корректор М. Фрадкина Б. Ефимов

Илья Ильф, Евгений Петров

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ. ФЕЛЬЕТОНЫ (1929–1931)

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

ПРИЗРАК-ЛЮБИТЕЛЬ[1]

В акционерном обществе «Насосы» создалось напряженное положение. Говорили только о чистке, рассказывали пугающие истории из практики бывших ранее чисток и вообще волновались свыше меры.

Незаметно насосовцы перешли на страшные рассказы. Инструктор из отдела поршней, товарищ Быдто-Стерегающий, поведал обществу грустный случай. Ему, Быдто-Стерегающему, в молодости явился призрак покойного деда. Призрак размахивал руками и призывал на племянника кары небесные.

Быдто-Стерегающего осмеяли, и он сознался, что призрак этот явился, собственно говоря, не ему лично, а одному очень хорошему знакомому, которому верить можно безусловно. Все же разговор о выходах с того света продолжался. Все насосовцы оказались сознательными и с презрением отметали даже самую мысль о возможности появления призраков в наше трезвое материалистическое время.

Заклейменный всеми, Быдто-Стерегающий отмежевался от своего рассказа и уже собирался было удалиться в свой отдел поршней, когда внезапно заговорил Культуртриггер, старый работник отдела шлангов.

— Легко сказать, — заметил он, — а призрак такая вещь, что душу леденит.

— Стыдно, товарищ Культуртригер! — закричали все. — Стыдно и глупо верить в привидения.

— Да, если бы мне в руки попался призрак, — сказал товарищ Галерейский, — уж я бы ему...

И Галерейский самодовольно улыбнулся.

— Чудес на свете нет, — сказали два брата, работавшие в обществе «Насосы» под разными фамилиями — Лев Рубашкин и Ян Скамейкин. — Чудес на свете нет, а гением творения их является человек.

— Материалистам призрак нипочем, — подтвердил Галерейский. — Тем более мне как марксисту.

— Может быть, — тихо сказал дряхлый Культуртригер. — Все может быть. На свете много загадочного и непостижимого.

— Высадят вас на чистке по второй категории, тогда будете знать, как мистику разводить при исполнении служебных обязанностей, — сказал Лев Рубашкин.

— Гнать таких стариков надо, — поддержал Ян Скамейкин, поглядывая на своего брата Рубашкина.

На этом разговор кончился.

На другой день в акционерном обществе «Насосы» появилось привидение. Оно вышло из уборной и медленным шагом двинулось по длинному темному коридору.

Это было обыкновенное, пошленькое привидение во всем белом, с косой в правой руке. Привидение явно шло вровень с веком, потому что в левой руке держало вместо песочных часов новенький будильник.

Спугнув проходившую машинистку, которая с визгом умчалась, привидение вошло в кабинет товарища Галерейского.

— Вам чего, товарищ? — спросил Галерейский, не поднимая головы.

Привидение заворчал. Галерейский глянул и обомлел.

— Кто? Что? — завопил он, опрокинув стул и прижавшись к стене.

Привидение взмахнуло косой, словно собираясь в корне подсесть молодую жизнь своей жертвы. Галерейский не стал терять ни минуты. Он бросился к конторскому шкафу, всхлипывая, вполз туда и заперся на ключ. Призрак нагло постучал в дверцу шкафа, после чего изнутри донесся истерический крик.

— Тоже материалист! — озабоченно сказала привидение, переходя в следующую комнату, где сидел ничего не подозревавший Быдто-Стерегающий.

Стерегающий сразу упал, как сбитая шаром кегля, громко стукнувшись головой об пол. Привидение с презрением пихнуло его ногой и, тихо смеясь, вышло в коридор.

В отделе шлангов Лев Рубашкин и Ян Скамейкин невинно развлекались игрою в шашки.

— У-лю-лю! — негромко сказала привидение, вваливаясь в отдел, треща будильником и как бы подчеркивая этим, что дни братьев сочтены.

— Мама! — сказал Лев Рубашкин шепотом и выпрыгнул в окно.

Ян Скамейкин ничего не сказал. Он свалился под стол, лязгая зубами, как собака.

Дальнейшая работа привидения дала поразительные результаты.

Из шестидесяти насосовцев:

Испытали ужас — тридцать шесть.

Упали в обморок — восемь.

Заболели нервным тиком — девять.

Остальные отделались легким испугом. Галерейский совершенно поседел, Быдто-Стерегающий взял бюллетень, Рубашкин при падении со второго этажа вывихнул руку, а Скамейкин помешался в уме и целую неделю после этого на всех бумагах ставил подпись вверх ногами.

На чистке все сидели молча и слушали биографию Галерейского.

— Все это хорошо, — сказал с места старый Культуртригер. — Но какой же товарищ Галерейский материалист, ежели он привидения убоился? Гнать таких надо по второй категории. И даже по первой. Какой же он, товарищи, марксист?

— Это клевета! — закричал Галерейский.

— А кто в шкафу прятался? — ехидно спросил Культуртригер. — Кто поседел от страха? У меня про всех записано.

Старик вынул записную книжку и стал читать.

— Вел себя также недостойно материалиста Лев Рубашкин, каковой при виде призрака выпрыгнул в окно. А еще считается общественным работником. А равно и товарищ Скамейкин. Ноги мне целовал от ужаса. У меня все записано.

Культуртригер схватил председателя комиссии за рукав и, брызгая слюной, стал быстро изобличать насосовцев в мистике.

1929

## ПОД ЗНАКОМ РЫБ И МЕРКУРИЯ[2]

Иван Антонович Филиппиков, сотрудник Палаты мер и весов, очень любил свое учреждение. Он хотел бы даже, чтобы Палате принадлежала высшая власть в стране. Уж очень ему нравилась Палата, существующий в ней порядок, блестящие цилиндрические гири, метры и литры, одним своим видом говорящие о точности и аккуратности.

В таких приятных мыслях гражданин Филиппиков прогуливался однажды по городу.

Подойдя к оживленному перекрестку, Иван Антонович увидел плакат:

ПЕРЕХОДЯ УЛИЦУ, ОГЛЯНИСЬ ПО СТОРОНАМ

Для пущей внушительности на плакате был изображен милиционер с улыбкой манекена и с красной палкой в руке.

Иван Антонович добросовестно кинул взгляд на запад. Потом глянул на восток. Потом покосился на юг и, наконец, повернулся к северу. И на севере, у магазина наглядных пособий, где веселые скелеты обменивались дружественными рукопожатиями, он увидел мальчика, на плече которого сидел попугай.

— Грияждане, — скучным голосом говорил мальчик, — американский попугай-прорицатель Гаврюшка докладывает тайны прошедшего, настоящего и будущего. Пакет со счастьем — десять копеек!

Попугай-прорицатель строго смотрел на Филиппикова.

«Разве в виде шутки попробовать!» — сказал себе Иван Антонович.

И уже через минуту вестник счастья с ворчаньем вручил ему розовый конверт.

Иван Антонович надел очки и вынул из конверта предсказание своей судьбы.

«Вы родились, — прочел он, — под знаком Рыб и Меркурия. Вы испытали много превратностей, но не теряйте мужества. Судьба вам будет благоприятствовать. Скоро вы получите приятное известие. Счастье и выгоды в изобилии выпадут на вашу долю. Вы получите большие имения, которые вам будут приносить большие доходы. Оракул предвещает вам, что ваша жизнь будет цепью счастливых дней».

— Оракул! — с удовольствием произнес Филиппиков. — Оракул! Моя жизнь будет цепью счастливых дней. Скоро я получу приятное известие.

Лучезарно улыбаясь, Иван Антонович поглядел на витрину магазина наглядных пособий, где рядами возлежали лошадиные черепа, и поплелся домой.

— Слышишь, Агния, — сказал он жене, — наша жизнь будет цепью счастливых дней.

— Почему цепью? — испуганно спросила жена.

— Да вот оракул сказал, Агнесса.

И гражданин Филиппиков, член многих добровольных обществ, передал своей жене, гражданке Филиппиковой, пакет со счастьем.

Агнессу ничуть не смутило то, что ее дорогой муж родился под знаком Рыб и Меркурия. Она любила Ивана Антоновича и никогда не сомневалась в том, что он родился именно под этими знаками.

Но с практичностью домашней хозяйки она обратила все свое внимание на фразу, сулящую непосредственные реальные блага.

«Вы получите большие имения, которые принесут вам большие доходы».

— Вот хорошо, — сказала Агния. — Большие имения! Большие доходы! Как приятно!

До самого вечера Иван Антонович почему-то чувствовал себя скверно, а за ужином не вытерпел и сказал жене:

— Знаешь, Агнесса, мне не нравится... то есть не то чтоб не нравится, а как-то странно. Какие же могут быть теперь имения, а тем более доходы с них? Ведь время-то теперь советское.

— Что ты, — сказала жена. — Я уже забыть успела, а ты все про своего оракула.

Однако ночь Филиппиков провел дурно. Он часто вставал, пил воду и смотрел на розовый листок с предсказанием. Нет, все было в порядке, по новой орфографии. Листок, несомненно, был отпечатан в советское время.

— Какое же имение? — бормотал он. — Совхоз, может быть? Но за доходы с совхоза мне не поздоровится. Хороша же будет эта цепь счастливых дней, нечего сказать.

А под утро приснился Ивану Антоновичу страшный сон. Он сидел в полосатом архалуке и дворянской фуражке на веранде помещичьего дома. Сидел и знал, что его с минуты на минуту должны сжечь мужики. Уже розовым огнем полыхали псарня и птичий двор, когда Филиппиков проснулся.

На службе, в Палате мер и весов, Иван Антонович чувствовал себя ужасно, не подымал головы от бумаг и ни с кем не беседовал.

Прошло две недели, прежде чем Филиппиков оправился от потрясения, вызванного предсказанием попугая Гаврюшки.

Так радикально изменилось представление о счастье. То, что в 1913 году казалось верхом благополучия (большие имения, большие доходы), теперь представляется ужасным (помещик, рантье).

Оракул, несмотря на свою новую орфографию, безбожно отстал от века и зря только пугает мирных советских граждан.

1929

### АВКСЕНТИЙ ФИЛОСОПУЛО[3]

Необъяснима была энергия, с которой ответственный работник товарищ Филосопуло посещал многочисленные заседания, совещания, летучие собеседования и прочие виды групповых работ.

Ежедневно не менее десяти раз перебегал Филосопуло с одного заседания на другое с торопливостью стрелка, делающего перебежку под неприятельским огнем.

— Лечу, лечу, — бормотал он, вскакивая на подножку автобуса и рукой посылая знакомому воздушное «пока».

— Лечу! Дела! Заседание! Сверхсрочное!

«Побольше бы нам таких! — радостно думал знакомый. — Таких бодрых, смелых и юных душой!»

И действительно, Филосопуло был юн душой, хотя и несколько тучен телом. Живот у него был, как ядро, вроде тех ядер, какими севастопольские комендоры палили по англо-французским ложементам в Крымскую кампанию. Было совершенно непостижимо, как он умудряется всюду поспевать. Он даже ездил на заседания в ближайшие уездные города.

Но как это ни печально, весь его заседательский пыл объяснялся самым прозаическим

образом. Авксентий Пантелеевич Филосопуло ходил на заседания, чтобы покушать. Покушать за счет учреждений.

— Что? Началось уже? — спрашивал он курьера, взбегая по лестнице. — А-а! Очень хорошо!

Он протискивался в зал заседания, где уже за темно-зеленой экзаменационной скатертью виднелись бледные от табака лица заседающих.

— Привет! Привет! — говорил он, хватая со стола бутерброд с красной икрой. — Прекрасно! Вполне согласен. Поддерживаю предложение Ивана Семеновича.

Он пережевывал еду, вытаращив глаза и порывисто двигая моржовыми усами.

— Что? — кричал он, разинув пасть, из которой сыпались крошки пирожного. — Что? Мое мнение? Вполне поддерживаю.

Наевшись до одурения и выпив восемь стаканов чая, он сладко дремал. Длительная практика научила его спать так, что храп и присвист казались окружающим словами: «Верно! Хр-р... Поддерживаю! Хх-р. Пр-р-равильно! Кр-р. Иван Семеныча... Хр-р-кх-х-х...»

Неожиданно разбуженный громкими голосами спорящих, Филосопуло раскрывал блестящие черные глаза, выхватывал из жилета карманные часы и испуганно говорил:

— Лечу! Лечу! У меня в пять комиссия по выявлению остатков. Уж вы тут без меня дозаседайте! Привет!

И Авксентий Пантелеевич устремлялся в комиссию по выявлению. Он очень любил эту комиссию, потому что там подавали бутерброды с печеночной колбасой.

Управившись с колбасой и вполне оценив ее печеночные достоинства, Авксентий под прикрытием зонтика перебежал в Утильоснову и с жадностью голодающего принимался за шпроты, которыми благодущные утильосновцы обильно усащали свои длительные заседания.

Он тонко разбирался в хозяйственных вопросах. На некоторые заседания, где его присутствие было необходимо, он вовсе не ходил. Там давали пустой чай, к тому же без сахара. На другие же, напротив, старался попасть, набивался на приглашение и интриговал. Там, по его сведениям, хорошо кормили. Вечером он делился с женой итогами трудового дня.

— Представь себе, дружок, в директорате большие перемены.

— Председателя сняли? — лениво спрашивала жена.

— Да нет! — досадовал Филосопуло. — Пирожных больше не дают! Сегодня давали бисквиты «Делегатка». Я съел четырнадцать.

— А в этом вашем, в синдикате, — из вежливости интересовалась жена, — все еще пирожки?

— Пирожки! — радостно трубил Авксентий. — Опоздал сегодня. Половину расхватали, черти. Однако штук шесть я успел.

И, удовлетворенный трудовым своим днем, Филосопуло засыпал. И молодецкий храп его по сочетанию звуков походил на скучную служебную фразу: «Выслушав предыдущего оратора, я не могу не отметить...»

Недавно с Авксентием Пантелеевичем стряслось большое несчастье.

Ворвавшись на заседание комиссии по улучшению качества продукции, Филосопуло сел в уголок и сразу же увидел большое аппетитное кольцо так называемой краковской колбасы. Рядом почему-то лежали сплюснутая гайка, кривой гвоздь, полуистлевшая катушка ниток и пузырчатое ярко-зеленое ламповое стекло. Но Филосопуло не обратил на это внимания.

— Поддерживаю, — сказал Авксентий, вынимая из кармана перочинный ножик.

Пока говорил докладчик, Филосопуло успел справиться с колбасой.

— И что же мы видим, товарищи! — воскликнул оратор. — По линии колбасы у нас не всегда благополучно. Не все, не все, товарищи, благополучно. Возьмем, к примеру, эту совершенно гниющую колбасу. Колбасу, товарищи... Где-то тут была колбаса...

Все посмотрели на край стола, но вместо колбасного кольца там лежал только жалкий веревочный хвостик.

Прежде чем успели выяснить, куда девалась колбаса, Филосопуло задергался и захрипел.

На этот раз его храп отнюдь не походил на обычное «согласен, поддерживаю», а скорее на «караул! доктора!».

Но спасти Филосопуло не удалось.

Авксентий в тот же день умер в страшных мучениях.

1929

#### ГИБЕЛЬНОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ[4]

— Кто написал эту порочащую меня заметку? — спросил Арест Павлович.

Он заговорил с теми дерзкими интонациями в голосе, какие присущи у нас только некоторым начальникам и людям свободных профессий (извозчикам, зубоврачам и театральным барышникам).

— Я не могу допустить подрыва моего авторитета. Это возмутительно!

И он махнул рукою в сторону стенгазеты «Под копирку».

Там, под рисунком, изображавшим голого волосатого человека в автомобиле, были помещены стихи:

#### МОЧАЛКОЙ ПО ЧЕРЕПУ

В двенадцать часов по утрам

Со стула встает наш директор,

И в баню стремится он сам

В казенной машине при этом,

Он любит казенный бензин



И труд сверхурочный шофера,  
И жаждет он легкого пару,  
Но мы поддадим ему жару.

Стихи были подписаны странным псевдонимом — Антихрист.

— Кто это Антихрист? — добивался Арест Павлович, заглядывая в глаза редактора стенгазеты — человека с толстым плаксивым лицом и жалобной улыбкой.

— Я считаю ваш вопрос не этичным, — ответил редактор, страдальчески кривя апельсиновое лицо. — Вы не имеете права добиваться раскрытия псевдонима. Все наши стенкоры: Антихрист, и Венера, и Винтик, и Форсунка — все они для вас не более как Венера, Форсунка, Винтик и Антихрист. А фамилии тут ни при чем.

Арест Павлович испугался.

— Вы, товарищ Укусихин, не подумайте, что я с целью зажима самокритики. У меня и в мыслях не было. Но заметка товарища Антихриста насквозь лжива. Ведь не возражаю же я против заметки товарища Венеры, который совершенно правильно пишет о плохой постановке работы кружка балалаечников. А вот товарищ Антихрист мне подозрителен. И псевдоним у него какой-то церковный. Смотрите, не есть ли это равнение на узкие места? Не развязывают ли подобные выступления мелкобуржуазную стихию?

— Стихию? — спросил Укусихин. — Нет. Стихию не развязывают.

— Но ведь заметка полна клеветы! — завизжал Арест Павлович.

— А вы напишите опровержение. Если будет деловое опровержение — мы напечатаем.

— И конечно, напишу.

Придя домой, Арест Павлович долго думал над тем, как бы похитрее составить опровержение. Отпираться было очень трудно. Наконец Ареста Павловича осенило.

На другой день он передал в стенгазету опровержение:

#### МОЙ ОТВЕТ АНТИХРИСТУ

Трудно отвечать на заметки, подписанные псевдонимом. Уже это одно (псевдоним) показывает, что человек не решается честно взглянуть вам в глаза и укрывается под псевдонимом.

Но я не боюсь смотреть в глаза правде-матке. И вот я отвечаю на выпад скрывшегося под псевдонимом гр. Антихриста.

Да будет известно гр. Антихристу и его присным, что я не только не ездил в баню на казенном автомобиле, но и вообще не был в бане с 1923 года. Я ожидал получения квартиры в жил-кооперации, где будет ванна и где я, если захочу, буду мыться без всякого разрешения со стороны скрывшегося под псевдонимом гр. Антихриста.

Это опровержение было помещено в очередном номере стенгазеты «Под копирку». И в этом же номере Арест Павлович с ужасом прочел новое стихотворение Антихриста:

## ПЕСНЬ О ВЕЩЕМ АРЕСТЕ

Как ныне собирается вещей Арест  
Отмстить неразумным стенкорам,  
Он в бане не моется вот уж шесть лет,  
Покрылся он грязью с позором.

В заключение говорилось о том, что поход «вещего Ареста» на стенкоров никак нельзя назвать культурным походом. (Шесть лет не мылся в бане.)

И тут только Арест Павлович понял, в какую бездну увлекла его страсть к опровержениям.

Кто бы ему теперь поверил, что не далее как в прошлую пятницу он ездил в баню на казенном автомобиле.

1929

## ВЫСОКОЕ ЧУВСТВО[5]

Не обязательно влюбляться весной. Влюбляться можно в любое время года.

В светлый январский день, когда галки, поскользнувшись на обледенелых карнизах, неуклюже слетают на мостовую, — в такой день начальница легкой кавалерии Варя Пчелкина со спешившимися кавалеристами произвела налет на финансово-счетный отдел.

— А! Кавалеристы! — с подогретой радостью воскликнул заведующий финансами. — Налетайте! Милости просим!

Звеня невидимыми миру шпорами, легкая кавалерия рассыпалась по отделу.

Варе Пчелкиной достался стол рядового служащего товарища Лжедмитриева. Сам рядовой служащий, лицо которого стало бледным, как сметана, трусливо переглянулся с сослуживцами и принялся давать объяснения. Послышались слова: «Конткоррентный счет», «сальдо в нашу пользу», «подбить итоги» и «мемориальный ордер».

— Так, значит, в нашу пользу? — с предельной суровостью спросила Пчелкина.

— Да. Сальдо в пашу пользу, — вежливо ответил Лжедмитриев.

И хотя все оказалось в порядке, начальница легкой кавалерии отошла от стола товарища Лжедмитриева с каким-то смутным чувством.

Часа полтора Пчелкина перетряхивала бумаги другого рядового служащего, а потом, повинувшись движению сердца, вернулась к столу Лжедмитриева. Лжедмитриев опешил.

— Давайте еще подзаймемся, — сказала Варя дрогнувшим голосом. — Так вы говорите, что сальдо в нашу пользу?

— В нашу!

Тем не менее товарищ Пчелкина вторично произвела полную проверку работы товарища Лжедмитриева.

«Придирается, — взволнованно думал служащий, — закопать хочет!»

Всю ночь начальница легкой кавалерии нежно думала о работниках финансово-счетного отдела, — в частности, о товарище Лжедмитриеве.

Утром по чистой случайности она проходила мимо комнаты счетработников. В открытую дверь она увидела Лжедмитриева. Он держал в руке огромный бутерброд и чему-то добродушно смеялся.

«Все кончено, — подумала Варя Пчелкина. — Люблю!»

Она быстро побежала в штаб, захватила для приличия двух кавалеристов и совершила на Лжедмитриева третий налет.

Бутерброд выпал изо рта рядового служащего.

Проверка шла целый час. Начальница задавала путаные вопросы и подолгу глядела в перекошенное от страха, но сохранившее еще следы вчерашней красоты лицо Лжедмитриева.

«Он волнуется, — думала Варя, — только любовь может вызвать такую бледность».

— А скажите, товарищ, — спрашивала она робко, — не числится ли за сотрудниками авансовой задолженности?

— Не числится, — угрюмо отвечал Лжедмитриев. — То есть числится, конечно. Там, в книге, написано.

После пятого налета Варя Пчелкина бродила по штабу и выпытывала у сокавалеристов их мнение о Лжедмитриеве.

— Парень он ничего, — говорили кавалеристы, — довольно крепкий. Но, в общем, слабый парень. Общественной работы не ведет.

— Да, да, — бормотала Варя, — не ведет, ох, не ведет.

В это время вокруг Лжедмитриева стояли сослуживцы и обсуждали создавшееся положение.

— Плохи твои дела, Ваня, — говорил старый кассир Петров-Сбытов, — статочное ли дело — пять налетов на одного человека. Я бы на твоём месте с ума сошел. Может быть, у тебя неполадки?

— Что вы, Павел Иванович, у меня в книгах ажур.

— Ажура теперь недостаточно, — наставительно сказал Петров-Сбытов, — теперь общественную работу вести надо. А какая твоя общественная работа? Будильник выиграл на пионерской лотерее — и всё. Этого, брат, недостаточно. Исправься, пока не поздно. Статью напиши в стенгазету. В кружок запишись какой-нибудь.

После восьмого налета Лжедмитриев написал в стенгазету статейку — «О необходимости проведения нового быта». После десятого он записался в кружок Осоавиахима и по вечерам хаживал в противогазовой маске. После двенадцатого занялся физкультурой и выпустил на волю свою канарейку, каковая замерзла на лету, ввиду того что любовь поразила сердце

начальницы легкой кавалерии, как мы уже говорили, в январе месяце, и наблюдалось резкое понижение температуры. Он приобрел славу лучшего общественника.

Однако налеты продолжались. Лжедмитриев чувствовал себя прескверно. Варя заходила в отдел каждое утро, вяло перебирала бумаги, но никак не решалась сказать о своей любви.

И вот, не то на девятнадцатом, не то на двадцатом налете, наступило объяснение.

— То, что я хочу вам сообщить, — сказала Пчелкина, — вероятно, вас удивит.

— У меня ажур, — тускло заметил Лжедмитриев и привычным движением вытащил книгу личных счетов.

— Да, да, покажите, — оживилась Варя, — вы знаете, я о вас много думаю. В последнее время для меня все стало ясным.

— Конечно, ясным, — сказал Лжедмитриев, зверея. — Посмотрите книги! Картинка! Ажур!

— Я теперь совсем не сплю по ночам, — пробормотала Варя.

— А я разве сплю? — с горечью спросил Лжедмитриев. — Со времени первого налета я глаз не сомкнул.

— Да? Правда?

— Честное слово.

— Я так рада! Так рада!

— Не понимаю, чему вы радуетесь! — с удивлением сказал Лжедмитриев. — Человек погибает, а вы радуетесь!

— Уже во время первого налета я почувствовала, что вы меня любите!

— Я? Вас?

— Ну, да, глупенький.

— Я? Вас? Н-нет.

— Не любите?

— Ей-богу, не люблю. Ни капельки.

Несколько минут Пчелкина молчала. Потом поднялась и ушла.

Налеты совершенно прекратились, но Лжедмитриев так втянулся в общественную работу, что по-прежнему остался лучшим общественником.

Вот как преображает человека любовь, даже неразделенная.

1930

ДОВЕСОК К БУКВЕ «Щ»[6]

Во вкусовом комбинате «Щи да каша» никто так ничего и не узнал о замечательном событии, происшедшем в стенах этого почтенного пищевого учреждения.

Глава «Щей да каши» товарищ Аматорский, оказавшийся виновником происшедшего, засекретил все до последней степени. Не быть ему, Аматорскому, главою учреждения, если какой-нибудь злой контрольный орган пронюхает о совершившемся.

У Аматорского были самые благие намерения. Хотелось ему одним взмахом определить способности своих подчиненных, выделить способных и оттеснить на низшие ступени служебной лестницы глупых и нерадивых.

Но как в массе служащих отыщешь способных? Все сидят, все пишут, все в мышинных толстовках.

Однажды, прогуливаясь в летнем саду «Террариум», товарищ Аматорский остановился у столика, где под табличкой «Разоблачитель чудес и суеверий, графолог И. М. Кошкин-Эриванский» сидел волосатый молодой человек в очках с сиреневыми стеклами и определял способности граждан по почерку.

Помедлив некоторое время, товарищ Аматорский своим нормальным почерком написал на клочке бумаги:

«Тов. Кошк.-Эриванскому. На заключение».

Когда графолог получил эту бумажку, глаза его под сиреневыми стеклами засверкали. Определить характер Аматорского оказалось пустяковым делом.

Через пять минут глава «Щей и каши» читал о себе такие строки:

«Вы, несомненно, заведуете отделом, а вернее всего, являетесь главою большого учреждения. Особенности вашего почерка позволяют заключить, что вы обладаете блестящими организаторскими способностями и ведете ваше учреждение по пути процветания. Вам предстоит огромная будущность».

— Ведь до чего верно написано! — прошептал товарищ Аматорский. — Какое тонкое знание людей! Насквозь проникает, собака. Вот кто мне нужен. Вот кто поможет мне определить способности щи-да-кашинцев!

И Аматорский пригласил И. М. Кошкина-Эриванского к себе в учреждение, где задал ему работу. Кошкин должен был определить по почерку служащих, кто к чему способен. Расходы (по полтиннику за характеристику) были отнесены за счет ассигнований на рационализацию.

Три дня и три ночи корпел И. М. Кошкин-Эриванский над почерками ничего не подозревавших служащих. И, совершив этот грандиозный труд, он открыл перед товарищем Аматорским книгу судеб.

Все раскрылось перед начальником ЩДК.

Добрый Кошкин-Эриванский никого не «закопал». Большинство служащих, по определению разоблачителя чудес и суеверий, были людьми хотя и средних способностей, но трудолюбивыми и положительными. Лишь некоторые внушали опасение («Способности к живописи», «Наклонность к стихам», «Будущность полководцев»).

И один лишь самый мелкий служащий — Кипяткевич получил триумфальный отзыв. По мнению Эриванского, это был выдающийся человек.

«Трудно даже представить себе, — писал Кошкин каллиграфическим почерком, — каких

вершин может достигнуть данный субъект. Острый, пронизательный ум, ум чисто административный характеризует этого индивидуума. Оригинальный наклон букв свидетельствует о бескорыстии. Довесок к букве „щ“ говорит о необыкновенной работоспособности, а завиток, сопровождающий букву „в“, — о воле к победе. Нельзя не ждать от этого индивидуума крупных шагов по службе».

Когда Кошкин-Эриванский покидал гостеприимное ЩДК, на лестнице его догнал Кипяткевич и спросил:

— Ну как?

— Такое написал, — ответил Кошкин, — что пальчики оближешь.

Кипяткевич вынул кошелек и честно выдал разоблачителю чудес и суеверий обусловленные пять рублей.

Немедленно вслед за этим Кипяткевича позвали в кабинет самого Аматорского.

Кипяткевич бежал в кабинет весело, справедливо ожидая отличия, повышения и награды.

Из кабинета он вышел, шатаясь. Аматорский почему-то распек его и пообещал уволить, если он не исправится.

Прочтя о гениальном индивидууме с необыкновенным довеском к букве «щ», Аматорский очень обрадовался. Наконец-то он сыскал змею, которая таилась в недрах учреждения и могла когда-нибудь занять его место.

«Теперь, — сказал он самому себе, — и в отпуск можно ехать спокойно. Прищемил гада!»

1930

## МЫ РОБИНЗОНЫ[7]

В книге Даниэля Дефо под названием «Робинзон Крузо», или, как пишется в иных переводах, — «Робинзон Крузоэ» Даниэля Дефоэ, — описывается, как герой романа потерпел кораблекрушение и был выброшен на необитаемый остров.

Произошло это по воле темных неорганизованных сил. Собственно говоря, эти силы и являются главным действующим лицом повествования. Здесь участвуют ветры, бури, волны, обмороки, обломки мачт, вера в провидение и другие чисто случайные события, в результате которых Робинзон принужден был начать новую жизнь на голом месте.

То, что произошло 3 декабря 1926 года на заседании Совета Труда и Оборона, не носило никаких признаков случайности. Стихия здесь не участвовала. Шквалам, ветрам, волнам, обморокам и божественному провидению вход был строжайше заказан. Не было здесь ни диких проклятий капитана, ни робкой мольбы гг. пассажиров 1 и 2 классов. Здесь слышались негромкие речи.

Здесь слушали:

Доклад Госплана о крупном строительстве

И здесь же постановили:

В текущем году приступить к осуществлению в пятилетний срок постройки Семиреченской ж. Д.

Этим постановлением десятки тысяч людей были брошены в пустыню для того, чтобы построить там новую жизнь. Условия работы этих людей были приблизительно такими же, как и у Робинзона, выкинутого на необитаемый берег. Не было ни жилых помещений, ни колодцев, ни дорог. Все нужно было начинать с нуля.

Робинзону пришлось гораздо легче. Он поставил перед собой узко ограниченную задачу: спасти свою бессмертную душу, а заодно и грешное тело. Советским же робинзонам предстояла более трудная работа: построить железную дорогу протяжением в 1442 километра.

Провидение бросило вдогонку Робинзону толстую книгу сказок в телячьем переплете под названием «Библия».

Госплан поступил куда осмотрительнее. Вдогонку турксибовцам он забросил в пустыню рельсы, шпалы, машины.

Предстояло возводить гигантские насыпи, пробивать длиннейшие выемки в скалах, строить мосты: мост через Иртыш, длиной в 600 метров, мост через Или в 266 метров, стометровый мост через овраг Мулалы высотой в 34 метра. (Этот мост пришлось строить особым способом, чтобы предохранить его от частых землетрясений.) И много еще надо было построить мостов — больших и малых.

Огромны были трудности транспортирования. Надо было перевозить материалы, инвентарь, громоздкие механические снаряды, предметы широкого потребления.

Предстояло накормить сорок тысяч рабочих. Вместе с обслуживающими учреждениями и семьями на Турксибе находилось больше ста тысяч человек, разбросанных на протяжении полутора тысяч километров. Для этой титанической работы потребовалось бы столько автомобилей и телег, что в наших условиях собрать их на этой стройке оказалось бы делом невозможным. А если бы даже и собрали, то застряли бы здесь в бездорожной грязи, в песках и на крутых перевалах.

Единственно рациональным транспортом мог быть только сам Турксиб. Началась форсированная укладка рельс. От станции Луговой с юга и от Семипалатинска на севере вышли друг другу навстречу два укладочных городка. Они вышли немедленно, как только были проложены первые километры насыпи.

Два поезда с жильем для укладчиков, с кухнями, банями, столовыми, лавками и красными уголками изо дня в день продвигались все дальше в глушь и дичь восточного Казахстана.

Укладка насаждала. Она сидела на плечах строителей полотна. Она погоняла их и задавала темп всему строительству. Если земляные работы задерживали укладку, рельсы сходили с насыпи и временно шли с ней рядом. В горных местностях, не дожидаясь выемок, делали обходы. Рядом с капитальным мостом возводились на время деревянные эстакады.

И своего добились. Основную массу потребных ему материалов Турксиб перевез на самом себе. Турксибовские робинзоны разрешили важнейшую проблему транспортирования огромных количеств материалов в стране, почти лишенной населенных пунктов, в стране кочевников.

Помимо больших дел, приходилось заниматься множеством мелочей, а обстановка Турксиба была такова, что каждая мелочь вырастала здесь в проблему.

Робинзону Крузоэ приходилось изобретать и изготавливать сотни мелких предметов, которыми мы повседневно пользуемся, не придавая им значения, не замечая их.

Робинзону Турксибоэ было не легче.

Юного робинзона-комсомольца выбросило плановой стихией Турксиба на станцию Маяк-Кум, где его быстро нагрузили — поручили ликвидировать неграмотность среди рабочих-строителей.

Робинзон ознакомился с ситуацией. Может быть, это была даже не ситуация, а конъюнктура. Во всяком случае, это было нечто из Даниэля Дефоз: перьев не было, бумаги не было, грифельных досок не было.

Писать можно и деревянным углем, но деревянного угля тоже не было.

Была только белая краска. И комсомолец начал робинзонить. Он сыскал деревянные доски и покрасил их белой краской. Следующим этапом была организация небольшого угольного производства. Робинзон принялся выжигать древесный уголь. Этого требовал его учебный план.

И уже через несколько дней ученики повой школы ликбеза выводили углем на белых досках:

«Ба-ры не ра-ды. Ры-бы не га-ды».

Тысячи таких робинзонов и построили Турксиб.

Начальника северного укладочного городка Бубчикова не удовлетворяла двойная итальянская бухгалтерия. Записи ее безбожно отставали, а Бубчикову требовались сведения по последнюю минуту.

Двойной итальянской бухгалтерии пришлось потесниться. Сейчас бухгалтерия Бубчикова не отстает ни на минуту от жизни. Специалисты еще не могут определить, что это за бухгалтерия. Во всяком случае, она совершенно точна и необыкновенно быстронога. Какая-то особая «укладочная» бухгалтерия, поспевающая за сверхамериканскими темпами турксибовской укладки (американцы укладывают в день 2 1/2 километров пути, на Турксибе — укладывали по 3 1/2 ).

Трудно было работать на Турксибе. На двухсоткилометровом участке песков жара в шестьдесят градусов изнуряла строителей. Ветер уносил насыпи. Он похищал их и разбрасывал по пустыне. Он выдувал пески из-под шпал, и вся работа шла к черту — путь проваливался в образовавшиеся ямы.

Нелегка была борьба со скалами. У их подножий прокладывались штольни, которые начинали аммоналом. Взрывы сотрясали пустыню. Скалы обваливались, освобождая путь Турксибу.

Пустыня была побеждена. Побеждено было и время. Смычка произошла на год раньше установленного плана срока.

28 апреля на станции Айна-Булак, в середине Турксиба, последний рельс был пришит к шпалам, и великая магистраль, соединяющая Сибирь со Средней Азией, дорога, по которой с севера на юг пойдет хлеб, а с юга на север хлопок, дорога, которая сделает Казахстан процветающей республикой, была открыта.

Скучным обычно кажется протокол с его неизбежным «слушали — постановили». Но когда к нему добавляется параграф — «и построили», то он становится еще более увлекательным, чем «Робинзон Крузоэ», сочинение Даниэля Дефоз.



## ТУРИСТ-ЕДИНОЛИЧНИК[8]

Фабзайца Выполняева умоляли, фабзайца Выполняева просили:

— Поедем с нами, фабзаяц! Плановая экскурсия с горячими завтраками. В Крым. Лекция у подножия Ай-Петри. Культхоровод на Ласточкином гнезде. Осмотр местной промышленности. Визит в виноградный колхоз. Все вместе обойдется в тридцать три рубля шестьдесят копеек, включая горячие завтраки и проезд в жестком вагоне.

Фабзаяц упрямылся.

— Поедем, — говорили ему, — приятное с полезным соединишь. Полезное с приятным увидишь. Все организовано. Билеты через местком. Руководители и докладчики с пеной на губах уже дожидаются нашего прибытия у подножия скалистого Ай-Петри. Поедем, Выполняев. Полная реконструкция ума и здоровья.

— Не поеду, — сказал наконец Выполняев, — не люблю я этих массовых маршрутов. Приходится идти туда, куда лезут все. Стадное чувство. Я — вольная птица. Поеду один. Зато увижу все, что мне захочется. Захочу на гору — полезу на гору. Не захочу на гору — не полезу на гору. А вас все равно обманут. Возьмут тридцать три рубля шестьдесят копеек, а покажут на двадцать семь рублей восемьдесят копеек. А я — сам себе кассир, руководитель и затейник. Захочу — влзу на Ласточкино гнездо и устрою себе хоровод. Не захочу — не устрою.

Оторвавшись от массы экскурсантов, фабзаяц Выполняев с головой погрузился в бурную жизнь туриста-единоличника.

Сперва он решил стать пешеходом и совершить переход из Пскова во Владивосток и обратно, попутно изучая быт и нравы встречных народов. Он даже приобрел подбитые железом тапочки и палку, коей намеревался обороняться от собак. Потом, соразмерив срок отпуска (две недели) с расстоянием, отделяющим Владивосток от Пскова, он отказался от этой мысли.

И хорошо сделал. Жизнь пешеходов необычайно сложна. Пешеход, покинувший исходный пункт своего путешествия молодым, является к пешеходному финишу потрепанным старичком. За долгое свое пешеходство он успевает несколько раз жениться и оставить по пути следования ряд маленьких детей. Жизнь оказывается прожита довольно глупо, знаний прибавилось немного, профессию свою пешеход успел забыть, и единственной отрадой его старости является воспоминание о том, как возле какого-то совхоза он целую ночь отбивался от собак.

И Выполняев, так ратовавший против избитых маршрутов, все-таки решил поехать в Крым.

Долго и грустно стоял турист-единоличник в очереди у железнодорожной кассы. К концу дня, когда Выполняев почти добрался до решетчатого окошечка кассы, стоявший впереди него организатор коллективной поездки с горячими завтраками в Крым взял сразу тридцать восемь билетов. Билетов больше не было.

— А индивидуальные туристы? — спросил Выполняев с дрожью в голосе.

Но кассир, как видно, не оценил глубоко индивидуальных свойств фабзайца Выполняева и

порекомендовал ему прийти на другой день.

Выехал он на сутки позже своего коллективного соперника.

В станционных буфетах ему оставались только какие-то несъедобные пачки с желудевым кофе и щелоком.

— Позвольте! — хорохорился Выполняев.

— Экскурсия все съела, — говорили буфетчики. — Как раз перед вами проехала. Злые на еду.

— Что ж они ели? — со стоном спрашивал Выполняев.

— Обыкновенно. Судак ели.

— Неужели ели и крутые яйца? — плакался Выполняев, чувствуя голодную тошноту.

Поотощав в пути, единоличник прибыл к подножью ялтинской гостиницы «Девятый вал».

— Дайте-ка номерок подешевле, — сказал Выполняев, тяжело дыша.

— Подешевле не будет, — ответили ему.

— Ну что ж, давайте подороже.

— А где их взять? И дешевые и дорогие — все экскурсанты заняли. По заявкам.

И тут только запыленный единоличник заметил своих соперников. Они в одних трусиках бегали по коридорам гостиницы, обмениваясь радостными криками.

— Стадо! — презрительно пробормотал Выполняев, кривя рот. — Ездят по избитым маршрутам и только номера занимают.

Ночь он провел в лирической прогулке по набережной, а утром гордо и одиноко отправился на Ай-Петри.

Но у подошвы горы стояло шестьдесят восемь экскурсий, слушая шестьдесят восемь руководителей.

Полюбовавшись на гору издали, Выполняев побрел в город. По дороге его обогнала вереница автобусов с экскурсантами.

«Возьмите меня с собой! — хотел крикнуть Выполняев. — Я погибаю здесь один. Меня никто не уважает. Со мной никто не хочет говорить. Я одинок и грязен. Спасите меня!»

Но страшным усилием воли единоличник поборол в себе здоровое чувство самокритики.

Зато вечером, когда с вершины Ласточкина гнезда донеслись до него веселые звуки культхоровода, единоличник Выполняев не выдержал.

Он взобрался на скалу, пал на колени и, глухо рыдая, произнес:

— Простите меня. Примите меня. У меня осталось тридцать рублей. Я вношу их в общий фонд. Я не могу больше жить без общества.

Его простили, и уже на другой день он носился в тигровых трусиках вместе с прочими по пляжу, оглашая чистый крымский воздух радостными криками.

## НА ВОЛОСОК ОТ СМЕРТИ[9]

Теперь как-то не принято работать в одиночку. Многие наконец поняли, что ум — хорошо, а два все-таки лучше. Поэтому, когда редакции серьезного трехдекадника «Кустарь-невропатолог» понадобился художественный очерк о психиатрической больнице, то послали туда не одного журналиста, а сразу двух — Присягина и Девочкина. Поочередно поглядывая на беспокойного Присягина и на круглое, глобусное брюхо Девочкина, секретарь «Невро-кустаря» предупреждал:

— Имейте в виду, что это не предприятие какое-нибудь, где вы можете безнаказанно всем надоедать. В больнице имени Титанушкина нужно держаться очень осторожно. Больные, сами понимаете, люди немного нервные, просто сумасшедшие. Среди них много буйных, и раздражаются они очень легко. Не противоречьте им, и все пройдет благополучно.

Сговорившись с секретарем относительно пределов художественности очерка, Девочкин и Присягин немедленно отправились выполнять задание.

На круглой, как тарелка, окраинной площади чета очеркистов справилась у милиционера о дальнейшем пути.

— Прямо, — сказал милиционер, — и налево, в переулок. Там только два больших серых здания. В одном психиатрическая, а в другом учреждение «Силостан». Там спросите.

— Мне страшно, — признался Присягин, когда друзья подходили к серым воротам. — Вдруг они на нас нападут!

— Не нападут, — рассудительно ответил Девочкин. — Ты только не приставай к ним насчет душевных переживаний. Я уже бывал в сумасшедших домах. Ничего страшного, тем более что теперь режим в таких больницах совсем свободный. Сумасшедшим предоставлено право заниматься любимым делом. Я буду тебе все объяснять.

В это время на каменное крылечко ближайшего серого дома с визгом выкатился очень расстроенный гражданин. Шершавым рукавом пиджака он отирал потное лицо.

— Скажите, пожалуйста, — спросил Девочкин, — это сумасшедший дом?

— Что? — закричал гражданин. — Вот это? Конечно, сумасшедший дом.

И, размахивая портфелем, гражданин умчался, что-то каркая себе под нос.

Друзья, бессмысленно покашливая, вступили на цементные плиты вестибюля. Швейцар в глупой фуражке с золотым околышем степенно говорил какой-то женщине с подносом, по-видимому сиделке:

— Новый-то — буен! Как начал сегодня с девяти утра бушевать, так никакого с ним сладу нет. Одно слово — псих. Патрикеев уже к нему и так и этак — и ничего. Уперся на своем. «Всех, говорит, повыгоняю. Начальник я или не начальник?»

— Чай я ему носила, — грустно сказала сиделка, — не пьет. Все пишет. Каракули свои выводит.

— Наверно, опасный экземпляр, — шепнул Присягину опытный Девочкин.

— Может, вернемся? — трусливо пробормотал Присягин.

Девочкин с презрением посмотрел на коллегу и обратился к швейцару:

— У кого можно получить пропуск для осмотра заведения?

— Какой пропуск? — строго сказал золотой околыш. — У нас вход свободный.

— Как видишь, — разглагольствовал Девочкин, когда друзья поднимались по лестнице, — совершенно новая система лечения. Ничто внешне не напоминает сумасшедший дом. Вход свободный. Врачи не носят халатов. И даже больные без халатов. Халат угнетает больного, вызывает у него депрессию.

В первой же комнате очеркисты увидели пожилого сумасшедшего. Он сидел за большим столом и бешено щелкал на окованных медью счетах. При этом он напевал на какой-то церковный мотив странные слова: «Аванс мы удержим, удержим, удержим».

— Этого лучше не трогать, — сказал осторожный Присягин. — Стукнет счетами по башке, а потом ищи с него.

— Ты трус, Вася, — отвечал Девочкин. — Он совсем не буйный. Иначе ему не дали бы счетов. Просто шизофреник.

Но, увидев, что в этой же комнате урна для окурков прикована цепью к стене, сам побледнел и далеко обошел больного.

— Черт их знает! Может, они лупцуют друг друга урнами.

— Очень свободно. Оттого урна и прикована.

Толкаясь в дверях, друзья быстро вывалились из комнаты в длинный коридор. Там сумасшедшие прогуливались парочками, жуя большие бутерброды.

— Это, кажется, тихие, — облегченно сказал Присягин. — Давай послушаем, что они говорят.

— Вряд ли это что-нибудь интересное, — авторитетно молвил Девочкин. — Какое-нибудь расстройство пяточного нерва или ерундовая психостения.

Однако когда до уха Девочкина долетело: «Он из меня все жилы вытянул», то очеркист насторожился и стал внимательно прислушиваться.

— Все жилы, — сказал один больной другому. — Он ко мне придирается. Хочет сжить со свету. А почему — неизвестно. И такая меня охватывает тоска, так хочется подалее из этого сумасшедшего дома. Куда-нибудь на юг, на южный берег...

— Против меня плетутся интриги, — хрипло перебил второй. — Малороссийский хочет меня спихнуть. И каждое утро я слышу, как в коридоре повторяют мою фамилию. Это не зря. Но еще посмотрим, кто кого! Негодяй!

— Обрати внимание, — шепнул Девочкин, — типичный бред преследования.

— Ужас-то какой! — простонал Присягин. — Знаешь, эта обстановка меня гнетет.

— То ли еще будет! — сказал бесстрашный Девочкин.

— Войдем в эту палату номер шестнадцать. Там, кажется, сидит только один сумасшедший, и

если он на нас набросится, мы сможем его скрутить.

В большой палате, под плакатом: «Не задавайте лишних вопросов», сидел человек с бумажными глазами и в длинной синей толстовке, из кармана которой высывались какие-то никелированные погремушки.

— Вам кого? — раздражительно крикнул больной.

— Можно у вас узнать... — начал оробевший Девочкин.

— Молчи, — шепнул Присягин, вцепившись в руку своего друга. — Разве ты не видишь, что ему нельзя задавать лишних вопросов?

— Что же вы молчите? — сказал больной, смягчаясь. — Я вас не укушу.

«Это еще не известно, — подумал Девочкин. — Скорее всего, что именно укусишь».

— Да кто же вам нужен наконец? — завизжал сумасшедший. — Если вам нужен начканц, то это я — Патрикеев. Я — начальник канцелярии. Ну-с, я вас слушаю. Садитесь, я вам рад.

— В-ва-ва-ва! — задрезжал Присягин, оглядываясь на дверь.

— Ради бога, не волнуйтесь, — начал Девочкин. — Да, да, вы — начальник канцелярии, прошу вас, успокойтесь.

Однако больной раздражался все больше и больше. Багровея, он начал:

— Если вы пришли к занятому челове...

— Бежим! — крикнул Присягин.

Но тут из соседней палаты, на дверях которой висела стеклянная табличка: «М. Ф. Именинский», раздался леденящий душу крик.

Раскрылась дверь, и из палаты выбежал новый больной.

— Тысячу раз повторял я вам, — кричал он на больного, называвшегося Патрикеевым, — чтобы машину не давали кому попало. Мне ехать, а машины нет!

— Бежим! — повторил Присягин, увлекаемая за собой Девочкина.

Их догнал безумный крик:

— Мне на дачу, а машины нет!

Скатившись по лестнице в вестибюль, очеркисты ошалело присели на скамейку.

— Ну и ну! — сказал Присягин, отдуваясь. — Убей меня, во второй раз не пойду в сумасшедший дом. Мы просто были на волосок от смерти.

— Я это знал, — ответил храбрый Девочкин. — Но не хотел говорить тебе об этом, не хотел пугать.

Часы в вестибюле пробили четыре. И сразу же сверху, как стадо бизонов, ринулись больные с портфелями. Сбивая друг друга с ног, они побежали к вешалке.

Девочкин и Присягин в страхе прижались к стене. Когда больные выбежали на улицу, Девочкин перевел дух и сказал:

— На прогулку пошли. Прекрасная постановка дела. Образцовый порядок.

На улице друзья увидели вывеску, на которую они не обратили внимания при входе:

## СИЛОСТАН ТРЕСТ СИЛОВЫХ АППАРАТОВ

Ввиду того что время было позднее, а очерк о сумасшедшем доме надо было написать сегодня же, друзья честно описали все, что видели, назвав очерк «В мире душевнобольных».

Очерк этот был напечатан в «Невро-кустаре» и очень понравился.

«Как отрадно, — писал в редакцию видный психиатр Титанушкин, — читать очерк, в котором с такой исчерпывающей полнотой и правильностью описаны нравы и повадки душевнобольных».

1930

## ТИТАНИЧЕСКАЯ РАБОТА[10]

За месяц до окончания технического вуза студент Побасенков сказал своему другу и однокашнику Прелюбодяеву:

— Знаешь, меня беспокоит контрактация. Пошлют инженером черт знает в какую глушь, а отказаться нельзя.

— Неужели это тебя смущает? — сказал Прелюбодяев. — Кто тебя законтрактовал?

— «Стройстрой». Где-то на Урале. А тебя кто?

— Меня на Сахалин должны послать. Там теперь большое строительство. Но мне на Сахалин ехать не придется. У меня объективные причины. Остаюсь в Москве. Дело решенное.

— Как же тебе удалось? — удивился Побасенков.

— Своевременно принятые меры, — скромно заметил Прелюбодяев. — Титаническая работа. Вот результаты.

И Прелюбодяев развернул перед Побасенковым павлиний хвост различнойших документов.

— Антиконтракционную кампанию я начал еще два года назад. Вот! Во-первых, удостоверение от Адмтдела, что я проживаю в Москве совместно с девяностовосьмилетней бабушкой, абсолютно лишенной возможности покинуть пределы Москвы и области.

— Но ведь у тебя нет никакой бабушки! — воскликнул Побасенков.

— Скажу прямо, пришлось завести. Лучше бабушка, чем Сахалин. Ну, пойдем дальше. История болезни. Это было посложнее бабушки. Прошу взглянуть.

И он протянул коллеге большой медицинский бланк.

— Значит, у тебя невроз сердца, неврастения левого среднего уха и ослабление кишечной деятельности? С каких это пор? — вскричал Побасенков.

— Ты посмотри ниже, — самодовольно сказал Прелюбодяев.

— Боже мой! Рахит! Трещина черепной лоханки! Писчая судорога! Куриная слепота! Плоская ступня! И костоеда!

— И костоеда! — подтвердил Прелюбодяев.

— Но ведь всего этого у тебя нет?

— Нет, есть! Раз написано, значит есть! А раз есть, кто же меня сможет послать на Сахалин с трещиной в лоханке? Но и не это главное. Должен тебе сказать, что я уже служу. В тихой, но финансово-мощной конторе. Знакомства! Связи! Вот все необходимое и достаточное для начинающего инженера.

— А как же я? — печально спросил Побасенков.

— Ты? Ты поедешь на Урал. И ничто тебя не спасет. Ты поздно спохватился. За месяц нельзя приобрести ни бабушки, ни рахита, ни связей, — следовательно, и тихой работы в Москве.

Так оно и вышло. Ловкий Прелюбодяев вывернулся и от контракта увильнул, а глупый Побасенков запаковал свой багаж в скрипящую корзинку, перехватил байковое одеяло ремешком от штанов и поехал на Урал работать в «Стройстрое».

Как полагается в романах и в жизни, прошел год.

Как полагается, были неполадки, неувязки и мелкие склоки. Кто-то оттирал Побасенкова, кому-то и сам Побасенков показывал зубы. Но год прошел, все утряслось, инженер Побасенков приобрел опыт, знание и вес.

Осенью он поехал в Москву выдирать недоданные строительству материалы.

Когда решительным шагом он проходил по коридору нужного ему учреждения, к его щеке прижались чьи-то рыжие усы и знакомый голос радостно воскликнул:

— Побасенков!

Перед уральским инженером стоял Прелюбодяев. Он долго и больно хлопал Побасенкова по плечам, бессмысленно хохотал, а потом сразу скис и сказал:

— Плохо я живу.

— Почему плохо? — спросил Побасенков. — У тебя ведь все есть. Трещина в черепной механике, рахит, бабушка, тихая служба! Чего тебе еще? Кстати, мне нужно получить у вас чертежи конструкций для нового цеха. Ты этим, наверное, заведешь? Ты ведь конструктор по специальности?

— Что ты, что ты? — испуганно забормотал Прелюбодяев. — Какой же дурак работает теперь конструктором? Это ответственно, опасно. Я тут служу в канцелярии. Так оно спокойнее.

Прелюбодяев огляделся по сторонам и трусливо забормотал:

— Хорошо тебе на производстве. А у нас тут идет вакханалия. Чистка идет. Выкинут по какой-нибудь категории, потом иди доказывай. Хочу идти на производство, у меня уже есть удостоверение о том, что, ввиду моего болезненного состояния, мне нельзя жить в Москве и области. Может, к вам на Урал перекинуться?

— Кто же тебя возьмет такого? — грустно сказал Побасенков. — Знания ты растерял. А бумажки у нас и без тебя составлять умеют. Трудное твое дело, Прелюбодяев. Надо было

раньше подумать.

Побасенков давно уже ушел, а Прелюбодяев все еще стоял в коридоре и бормотал:

— На Сахалин хорошо бы, на крупное строительство!

1930

Я СЕБЯ НЕ ПОЩАЖУ[11]

Юный техник Глобусятников безмерно тосковал.

«Все что-то делают, — думал он, сжимая в руке рейсфедер, — один я что-то ничего не делаю. Как это нехорошо! Как это несовременно!»

Положение действительно было напряженное.

Техник Сенека объявил себя мобилизованным до конца пятилетки.

Химик Иглецов ревностно участвовал в буксире.

Все знакомые, как говорится, перешли на новые рельсы, работали на новых началах. И этого Глобусятников, работавший на старых началах и рельсах, никак не мог понять.

— Ну, зачем вам, — спрашивал он Сенеку, — зачем вам было объявлять себя мобилизованным?

— У нас прорыв, — бодро отвечал Сенека, — это позор. Надо бороться. Какие могут быть разговоры, если прорыв?

Остальные отвечали в том же роде. И даже спрашивали Глобусятникова, что он лично делает для выполнения промфинплана.

На это юный техник ничего не отвечал, над промфинпланом он не задумывался.

А жизнь подносила все новые неожиданности.

Металлург Антисайцев премию от своего изобретения в размере ста пятидесяти рублей положил в сберкассу на свое имя и уже был отмечен в кооперативной прессе как примерный вкладчик-пайщик.

Уже и пожилой инженер Ангорский-Сибирский что-то изобрел, от чего-то отказался и также был отмечен в экономической прессе.

А Глобусятников все еще ничего не делал. Наконец его осенило.

— Файна, — сказал он жене, — с завтрашнего дня я перехожу на новые рельсы. Довольно мне отставать от темпов.

— Что это тебе даст? — спросила практичная жена.

— Не беспокойся. Все будет в порядке.

И на другой день юный техник явился в свое заводоуправление.



— С этой минуты объявляю себя мобилизованным, — заявил он.

— И прекрасно, — сказали на заводе. — Давно пора.

— Объявляю себя мобилизованным на борьбу с прорывом.

— И чудесно. Давно бы так.

— На борьбу с прорывом, — закончил юный Глобусятников, — на заводе «Атлет».

— Как? А мы-то что? У нас ведь прорыв тоже, слава богу, не маленький.

— Там больше, — сказал Глобусятников.

И начальство, пораженное стремлением техника помочь промышленности, отпустило его.

На заводе «Атлет» был больше не только прорыв. Было больше и жалованье.

— Видишь, Файнетта, — говорил Глобусятников жене. — Все можно сочетать: жалованье и общественное лицо. Надо это только делать с умением. Вот у нас бюджет и увеличился на пятьдесят семь рублей с копейками. Да уж бог с ними, с этими копейками, зачем их считать? Я человек не мелочный.

Через месяц Файна-Файнетта сказала:

— Котик, жизнь безумно дорожает!

— Объявляю себя мобилизованным, — сразу ответил техник. — Мне шурин говорил, что я дурак. На заводе «Атлет» мне платят двести девяносто рублей, в то время как на «Котловане» мне легко дадут триста сорок.

То же самое объявил Глобусятников заводууправлению «Атлета», умолчав, конечно, о разнице в окладах.

— Объявляю себя... — кричал он. — Там прорыв... Я не могу отставать от темпов.

Техника пришлось отпустить.

И уже ничего не тревожило борца с прорывами.

— Что мне, — говорит он, — химик Иглецов! Подумаешь, участвует в буксире. Я больше сделал. Если нужно будет, я себя не пожалю, не пощажу. Если понадобится, даже жену мобилизую. Она, кстати, довольно прилично печатает на машинке. Самоуком дошла. А вы мне тычете инженера Ступенского! Еще неизвестно, кто больше сделал для блага. Может, я больше сделал! И даже наверно больше!..

1930

## ОБЫКНОВЕННЫЙ ИКС[12]

О несправедливости судьбы лучше всех на свете знал Виталий Капитулов.

Несмотря на молодые сравнительно годы, Виталий был лысоват. Уже в этом он замечал какое-то несправедливое к себе отношение.

— У нас всегда так, — говорил он, горько усмехаясь. — Не умеют у нас беречь людей. Довели культурную единицу до лысины. Живи я спокойно, разве ж у меня была бы лысина? Да я же был бы страшно волосатый!

И никто не удивлялся этим словам. Все привыкли к тому, что Виталий вечно жаловался на окружающих.

Утром, встав с постели после крепкого десятичасового сна, Виталий говорил жене:

— Удивительно, как это у нас не умеют ценить людей, просто не умеют бережно относиться к человеку. Не умеют и не хотят!

— Ладно, ладно, — отвечала жена.

— И ты такая же, как все. Не даешь мне договорить, развить свою мысль. Вчера Огородниковы до одиннадцати жарили на гармошке и совершенно меня измучили. Ну конечно, пока жив человек, на него никто внимания не обращает. Вот когда умру, тогда поймут, какого человека потеряли, какую культурную единицу не уберegli!

— Не говори так, Виталий, — вздыхала жена. — Не надо.

— Умру, умру, — настаивал Капитулов. — И тогда те же Огородниковы будут говорить: «Не уберegli мы Капитулова, замучили мы его своей гармошкой, горе нам!» И ты скажешь: «Не уберegli мужа, горе мне!»

Жена плакала и клялась, что уберегет. Но Виталий не верил.

— Люди — звери, — говорил он, — и ты тоже. Вот сейчас ты уже испугалась ответственности и навязываешь мне на шею свой шарф. А вчера небось не навязывала, не хотела меня уберечь от простуды. Что ж, люди всегда так. Простужусь и умру. Только и всего. В крематории только поймут, что, собственно говоря, произошло, какую силу в печь опускают. Ну, я пошел!.. Да не плачь, пожалуйста, не расстраивай ты мою нервную систему.

Рассыпая по сторонам сильные удары, Капитулов взбирался на трамвайную площадку первым. Навалившись тяжелым драповым задом на юную гражданку, успевшую захватить место на скамье, Виталий сухо замечал:

— Какая дикость! Средневековье! И таким вот образом меня терзают каждый день.

Замечание производило обычный эффект: вагон затихал, и все головы поворачивались к Виталию.

— Люди — звери, — продолжал он печально. — Вот так в один прекрасный день выберусь из трамвая и умру. Или даже еще проще — умру прямо в вагоне. Кто я сейчас для вас, граждане? Пассажир. Обыкновенный икс, которого можно заставлять часами стоять в переполненном проходе. Не умеют у нас беречь людей, этот живой материал для выполнения пятилетки в четыре и даже в три с половиной года. А вот когда свалюсь здесь, в проходе, бездыханный, тогда небось полвагона освободят. Ложитесь, мол, гражданин. Найдется тогда место. А сейчас приходится стоять из последних сил.

Тут обыкновенно юная гражданка багровела и поспешно вскакивала:

— Садитесь, пожалуйста, на мое место.

— И сяду, — с достоинством отвечал Капитулов. — Спасибо, мой юный друг.

Добившись своего, Капитулов немедленно разворачивал «Известия» и читал похоронные

объявления, время от времени крича на весь вагон:

— Вот полюбуйте! Еще один сгорел на работе. «Местком и администрация с глубокой скорбью извещают о преждевременной смерти...» Не уберегли, не доглядели. Теперь объявлениями не поможешь!..

Прибыв на место службы и грустно поздоровавшись, Капитулов садился и с глубоким вздохом поднимал штору шведского стола.

— Что-то Виталий сегодня бледнее обыкновенного, — шептали служащие друг другу, — ведь его беречь надо.

— В самом деле, у нас такое хамское отношение к людям, что только диву даешься.

— Вчера мне Виталий жаловался. Столько, говорит, работы навалили, что не надеется долго прожить. Ну, я по человечеству, конечно, пожалел. Взял его работу и сам сделал.

— Как бы не умер, в самом деле. А то потом неприятностей не оберешься. Скажут, не уберегли, не доглядели. Просто ужас.

Капитулов задремал над чистой бухгалтерской книгой.

— Тише! — бормотали сослуживцы. — Не надо его беспокоить. Опять он, наверно, всю ночь не спал, соседи гармошкой замучили. Вчера он жаловался. Действительно, люди — типичные звери.

К концу служебного дня Виталий смотрел на календарь и с иронией говорил:

— У нас всегда так. Где же нам догнать и перегнать при таком отношении к людям? Не умеют у нас беречь человека. Видите, опять пятнадцатое число. Нужно отрываться от дела, бежать в кассу, стоять в очереди за жалованьем, терять силы. Вот когда умру, тогда поймут, какого человека потеряли, какую культурную единицу не уберегли...

1930

## ГРАФ СРЕДИЗЕМСКИЙ[13]

Старый граф умирал.

Он лежал на узкой грязной кушетке и, вытянув птичью голову, с отвращением смотрел в окно. За окном дрожала маленькая зеленая веточка, похожая на брошь. Во дворе галдели дети. А на заборе противоположного дома бывший граф Средиземский различал намалеванный по трафарету утильсырьевой лозунг: «Отправляясь в гости, собирайте кости». Лозунг этот давно уже был противен Средиземскому, а сейчас даже таил в себе какой-то обидный намек. Бывший граф отвернулся от окна и сердито уставился в потрескавшийся потолок.

До чего ж комната Средиземского не была графской! Не висели здесь портреты екатерининских силачей в муаровых камзолах. Не было и обычных круглых татарских щитов. И мебель была тонконогая, не родовитая. И паркет не был натерт, и ничто в нем не отражалось.

Перед смертью графу следовало бы подумать о своих предках, среди которых были знаменитые воины, государственные умы и даже посланник при дворе испанском. Следовало

также подумать и о боге, потому что граф был человеком верующим и исправно посещал церковь. Но вместо всего этого мысли графа были обращены к вздорным житейским мелочам.

— Я умираю в антисанитарных условиях, — бормотал он сварливо. — До сих пор не могли потолка побелить.

И, как нарочно, снова вспомнилось обиднейшее происшествие. Когда граф еще не был бывшим и когда все бывшее было настоящим, в 1910 году, он купил себе за шестьсот франков место на кладбище в Ницце. Именно там, под электрической зеленью хотел найти вечный покой граф Средиземский. Еще недавно он послал в Ниццу колкое письмо, в котором отказывался от места на кладбище и требовал деньги обратно. Но кладбищенское управление в вежливой форме отказало. В письме указывалось, что деньги, внесенные за могилу, возвращению не подлежат, но что если тело месье Средиземского при документах, подтверждающих право месье на могильный участок, прибудет в Ниццу, то оно будет действительно погребено на ниццком кладбище. Причем расходы по преданию тела земле, конечно, целиком ложатся на месье.

Доходы графа от продажи папирос с лотка были очень невелики, и он сильно надеялся на деньги из Ниццы. Переписка с кладбищенскими властями причинила графу много волнений и разрушительно подействовала на его организм. После гадкого письма, в котором так спокойно трактовались вопросы перевозки графского праха, он совсем ослабел и почти не вставал со своей кушетки. Справедливо не доверяя утешениям районного врача, он готовился к расчету с жизнью. Однако умирать ему не хотелось, как не хотелось мальчику отрываться от игры в мяч для того, чтобы идти делать уроки. У графа на мази было большое склочное дело против трех вузовцев — Шкарлато, Пружанского и Талмудовского, квартировавших этажом выше.

Вражда его к молодым людям возникла обычным путем. В домовой стенгазете появилась раскрашенная карикатура, изображавшая графа в отвратительном виде — с высокими ушами и коротеньким туловищем. Под рисунком была стихотворная подпись:

В нашем доме номер семь

Комната найдется всем.

Здесь найдешь в один момент

Классово чуждый элемент.

Что вы скажете, узнав,

Что Средиземский — бывший граф?!

Под стихами была подпись: «Трое».

Средиземский испугался. Он засел за опровержение, решив в свою очередь написать его стихами. Но он не мог достигнуть той высоты стихотворной техники, которую обнаружили его враги. К тому же к Шкарлато, Пружанскому и Талмудовскому пришли гости. Там щипали гитару, затягивали песни и боролись с тяжким топотом. Иногда сверху долетали возгласы: «...Энгельс его ругает, но вот Плеханов...» Средиземскому удалась только первая строка: «То, что граф, я не скрывал...» Опровергать в прозе было нечего. Выпад остался без ответа. Дело как-то замялось само по себе. Но обиды Средиземский забыть не мог. Засыпая, он

видел, как на темной стене на манер валтасаровских «мене, текел, фарес» зажигаются три фосфорических слова:

## ШКАРЛАТО, ПРУЖАНСКИЙ, ТАЛМУДОВСКИЙ

Вечером в переулке стало тепло и темно, как между ладонями. Кушеточные пружины скрипели. Беспокойно умирал граф. Уже неделю тому назад у него был разработан подробный план мести молодым людям. Это был целый арсенал обычных домашних гадостей: жалоба в домоуправление на Шкарлато, Пружанского и Талмудовского с указанием на то, что они разрушают жилище, анонимное письмо в канцелярию вуза за подписью «Друг просвещения», где три студента обвинялись в чубаровщине[14] и содомском грехе, тайное донесение в милицию о том, что в комнате вузовцев ночуют непрописанные подозрительные граждане. Граф был в курсе современных событий. Поэтому в план его было включено еще одно подметное письмо — в университетскую ячейку с туманным намеком на то, что партиец Талмудовский вечно практикует у себя в комнате правый уклон под прикрытием «левой фразы».

И все это еще не было приведено в исполнение. Помечала костлявая. Закрывая глаза, граф чувствовал ее присутствие в комнате. Она стояла за пыльным славянским шкафом. В ее руках мистически сверкала коса. Могла получиться скверная штука: граф мог умереть неотмщенным.

А между тем оскорбление надо было смыть. Предки Средиземского всевозможные оскорбления смывали обычно кровью. Но залить страну потоками молодой горячей крови Шкарлато, Пружанского и Талмудовского граф не мог. Изменились экономические предпосылки. Пустить же в ход сложную систему доносов было уже некогда, потому что графу оставалось жить, как видно, только несколько часов.

Надо было придумать взамен какую-нибудь сильно действующую быструю месть.

Когда студент Талмудовский проходил дворик дома, озаренный жирной греческой луной, его окликнули. Он обернулся. Из окна графской комнаты манила его костлявая рука.

— Меня? — спросил студент удивленно.

Рука все манила, послышался резкий павлиний голос Средиземского:

— Войдите ко мне. Умоляю вас. Это необходимо.

Талмудовский приподнял плечи. Через минуту он уже сидел на кушетке в ногах у графа. Маленькая лампочка распространяла в комнате тусклый бронзовый свет.

— Товарищ Талмудовский, — сказал граф, — я стою на пороге смерти. Дни мои сочтены.

— Ну, кто их считал! — воскликнул добрый Талмудовский. — Вы еще поживете не один отрезок времени.

— Не утешайте меня. Своей смертью я искуплю все то зло, которое причинил вам когда-то.

— Мне?

— Да, сын мой! — простонал Средиземский голосом служителя культа. — Вам. Я великий грешник. Двадцать лет я страдал, не находя в себе силы открыть тайну вашего рождения. Но теперь, умирая, я хочу рассказать вам все. Вы не Талмудовский.

— Почему я не Талмудовский? — сказал студент. — Я Талмудовский.

— Нет. Вы никак не Талмудовский. Вы — Средиземский, граф Средиземский. Вы мой сын. Можете мне, конечно, не верить, но это чистейшая правда. Перед смертью люди не лгут. Вы мой сын, а я ваш несчастный отец. Приблизьтесь ко мне. Я обниму вас.

Но ответного прилива нежности не последовало. Талмудовский вскочил, и с колен его шлепнулся на пол толстый том Плеханова.

— Что за ерунда? — крикнул он. — Я Талмудовский! Мои родители тридцать лет живут в Тирасполе. Только на прошлой неделе я получил письмо от моего отца Талмудовского.

— Это не ваш отец, — сказал старик спокойно. — Ваш отец здесь, умирает на кушетке. Да. Это было двадцать два года тому назад. Я встретился с вашей матерью в камышах на берегу Днестра. Она была очаровательная женщина, ваша мать.

— Что за черт! — восклицал длинноногий Талмудовский, бегая по комнате. — Это просто свинство!

— Наш полк, — продолжал мстительный старик, — гвардейский полк его величества короля датского, участвовал тогда в больших маневрах. А я был великий грешник. Меня так и называли Петергофский Дон-Жуан. Я соблазнил вашу мать и обманул Талмудовского, которого вы неправильно считаете своим отцом.

— Этого не может быть!

— Я понимаю, сын мой, ваше волнение. Оно естественно. Графу теперь, сами знаете, прожить очень трудно. Из партии вас, конечно, вон! Мужайтесь, сын мой! Я предвижу, что вас вычистят также из университета. А в доме про вас будут стихи сочинять, как про меня написали: «Что вы скажете, узнав, что Талмудовский бывший граф?» Но я узнаю в вас, дитя мое, благородное сердце графов Средиземских, благородное, смелое и набожное сердце нашего рода, последним отпрыском коего являетесь вы. Средиземские всегда верили в бога. Вы посещаете церковь, дитя мое?

Талмудовский взмахнул рукой и с криком «к чертовой матери!» выскочил из комнаты. Тень его торопливо пробежала по дворику и исчезла в переулке, А сырой граф тихо засмеялся и посмотрел в темный угол, образованный шкафом. Костлявая не казалась ему уже такой страшной. Она дружелюбно помахивала косой и позванивала будильником. На стене снова зажглись фосфорические слова, но слова «Талмудовский» уже не было. Пылали зеленым светом только две фамилии:

ШКАРЛАТО, ПРУЖАНСКИЙ

В это время во дворики раздался веселый голос:

— По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там! По моря-ам, морям, морям, морям!

То возвращался домой с карнавала на реке веселый комсомолец Пружанский. Его узкие белые брюки сверкали под луной. Он торопился. Дома ждал его маринованный судак в круглой железной коробочке.

— Товарищ Пружанский! — позвал граф, с трудом приподняв к окну свою петушину голову.

— А, товарищ Пружанский!

— Это ты, Верка? — крикнул комсомолец, задрал голову.

— Нет, это я, Средиземский. У меня к вам дело. Зайдите на минуточку.

Через пять минут пораженный в самое сердце Пружанский вертелся в комнате, освещенной

бронзовым светом. Он так суетился, словно на него напали пчелы.

А старый граф, придерживая рукой подбородок, длинный и мягкий, как кошелек, плавно повествовал:

— Я был великий грешник, сын мой. В то время я был блестящим офицером гвардейского его величества короля датского полка. Мой полк участвовал тогда в больших маневрах у Витебска. И там я встретил вашу мать. Это была очаровательная женщина, хотя и еврейка. Я буду краток. Она увлеклась мною. А уже через девять месяцев в бедной квартире портного Пружанского зашевелился маленький красный комочек. И этот комочек были вы, Пружанский.

— Почему вы думаете, что этот красный комочек был именно я? — слезливо спросил Пружанский. — То есть я хочу спросить, почему вы думаете, что отцом этого красного комочка были именно вы?

— Эта святая женщина любила меня, — самодовольно ответил умирающий. — Это была чистая душа, хотя и еврейка. Она рассказала мне, кто настоящий отец ее ребенка. Этот отец — я. И этот сын — вы. Вы мой сын, Яша. Вы не Пружанский. Вы — Средиземский. Вы граф! А я великий грешник, меня даже в полку так и называли — Ораниенбаумский Дон-Жуан. Обнимите меня, молодой граф, последний отпрыск нашего угасающего рода.

Пружанский был так ошеломлен, что с размаху обнял старого негодяя. Потом опомнился и с тоской сказал:

— Ах, гражданин Средиземский, гражданин Средиземский! Зачем вы не унесли этот секрет с собой в могилу? Что же теперь будет?

Старый граф участливо смотрел на своего второго, единственного, сына, кашляя и наставляя:

— Бедное благородное сердце! Сколько вам еще придется испытать лишений! Из комсомола, конечно, вон. Да я надеюсь, что вы и сами не останетесь в этой враждебной нашему классу корпорации. Из вуза — вон. Да и зачем вам советский вуз? Графы Средиземские всегда получали образование в лицеях. Обними меня, Яшенька, еще разок! Не видишь разве, что я здесь умираю на кушетке?

— Не может этого быть, — отчаянно сказал Пружанский.

— Однако это факт, — сухо возразил старик. — Умирающие не врут.

— Я не граф, — защищался комсомолец.

— Нет, граф.

— Это вы граф.

— Оба мы графы, — заключил Средиземский. — Бедный сын мой. Предвижу, что про нас напишут стихами: «Что вы скажете, узнав, что Пружанский просто граф?»

Пружанский ушел, крестясь набок и бормоча: «Значит, я граф. Ай-ай-ай!»

Его огненная фамилия на стене потухла, и страшной могильной надписью висело в комнате только одно слово:

ШКАРЛАТО

Старый граф работал с энергией, удивительной для умирающего. Он залучил к себе беспартийного Шкарлато и признался ему, что он, граф, великий грешник. Явствовало, что студент — последний потомок графов Средиземских и, следовательно, сам граф.

— Это было в Тифлисе, — усталым уже голосом плел Средиземский. — Я был тогда гвардейским офицером...

Шкарлато выбежал на улицу, шатаясь от радости. В ушах его стоял звон, и студенту казалось, что за ним по тротуару волочится и гремит белая сабля.

— Так им и надо, — захрипел граф. — Пусть не пишут стихов.

Последняя фамилия исчезла со стены. В комнату влетел свежий пароходный ветер. Из-за славянского шкафа вышла костлявая. Средиземский завизжал. Смерть рубанула его косой, и граф умер со счастливой улыбкой на синих губах.

В эту ночь все три студента не ночевали дома. Они бродили по фиолетовым улицам в разных концах города, пугая своим видом ночных извозчиков. Их волновали разнообразные чувства.

В третьем часу утра Талмудовский сидел на гранитном борту тротуара и шептал:

— Я не имею морального права скрыть свое происхождение от ячейки. Я должен пойти и заявить. А что скажут Пружанский и Шкарлато? Может, они даже не захотят жить со мной в одной комнате. В особенности Пружанский. Он парень горячий. Руки, наверно, даже не подаст.

В это время Пружанский в перепачканных белых брюках кружил вокруг памятника Пушкину и горячо убеждал себя:

— В конце концов я не виноват. Я жертва любовной авантюры представителя царского, насквозь пропитанного режима. Я не хочу быть графом. Рассказать невозможно, Талмудовский со мной просто разговаривать не станет. Интересно, как поступил бы на моем месте Энгельс? Я погиб. Надо скрыть. Иначе невозможно. Ай-ей-ей! А что скажет Шкарлато? Втерся, скажет, примазался. Он хоть и беспартийный, но страшный активист. Ах, что он скажет, узнав, что я, Пружанский, бывший граф! Скрыть, скрыть!

Тем временем активист Шкарлато, все еще оглушаемый звоном невидимого палаша, проходил улицы стрелковым шагом, время от времени молодецки вскрикивая:

— Жаль, что наследства не оставил. Чудо-богатырь. Отец говорил, что у него имение в Черниговской губернии. Хи, не вовремя я родился! Там теперь, наверно, совхоз. Эх, марш вперед, труба зовет, черные гусары! Интересно, выпил бы я бутылку рома, сидя на оконном карнизе? Надо будет попробовать! А ведь ничего нельзя рассказать. Талмудовский и Пружанский могут из зависти мне напортить. А хорошо бы жениться на графине! Утром входишь в будуар...

Первым прибежал домой Пружанский. Дрожа всем телом, он залег в постель и кренделем свернулся под малиновым одеялом. Только он начал согреваться, как дверь раскрылась, и вошел Талмудовский, лицо которого имело темный, наждачный цвет.

— Слушай, Яшка, — сказал он строго. — Что бы ты сделал, если бы один из нас троих оказался сыном графа?

Пружанский слабо вскрикнул.



«Вот оно, — подумал он, — начинается».

— Что бы ты все-таки сделал? — решительно настаивал Талмудовский.

— Что за глупости? — совсем оробев, сказал Пружанский. — Какие из нас графы!

— А все-таки? Что б ты сделал?

— Лично я?

— Да, ты лично.

— Лично я порвал бы с ним всякие отношения!

— И разговаривать не стал бы? — со стоном воскликнул Талмудовский.

— Нет, не стал бы. Ни за что! Но к чему этот глупый разговор?

— Это не глупый разговор, — мрачно сказал Талмудовский. — От этого вся жизнь зависит.

«Погиб, погиб», — подумал Пружанский, прыгая под одеялом, как мышь.

«Конечно, со мной никто не будет разговаривать, — думал Талмудовский. — Пружанский совершенно прав».

И он тяжело свалился на круглое, бисквитное сиденье венского стула. Комсомолец совсем исчез в волнах одеяла. Наступило длительное, нехорошее молчание. В передней раздались молодцеватые шаги, и в комнату вошел Шкарлато.

Долго и презрительно он оглядывал комнату.

— Воняет, — сказал он высокомерно. — Совсем как в ночлежном доме. Не понимаю, как вы можете здесь жить. Аристократу здесь положительно невозможно.

Эти слова нанесли обоим студентам страшный удар. Им показалось, что в комнату вплыла шаровидная молния и, покачиваясь в воздухе, выбирает себе жертву.

— Хорошо быть владельцем имения, — неопределенно сказал Шкарлато, вызывая поглядывая на товарищей. — Загнать его и жить на проценты в Париже. Кататься на велосипеде. Верно, Талмудовский? Как ты думаешь, Пружанский?

— Довольно! — крикнул Талмудовский. — Скажи, Шкарлато, как поступил бы ты, если бы обнаружилось, что один из нас тайный граф?

Тут испугался и Шкарлато. На лице его показался апельсиновый пот.

— Что ж, ребятки, — забормотал он. — В конце концов нет ничего особенно страшного. Вдруг вы узнаете, что я граф. Немножко, конечно, неприятно... но...

— Ну, а если бы я? — воскликнул Талмудовский.

— Что ты?

— Да вот... оказался графом.

— Ты, графом? Это меня смешит.

— Так вот я граф... — отчаянно сказал член партии.

— Граф Талмудовский?

— Я не Талмудовский, — сказал студент. — Я Средиземский. Я в этом совершенно не виноват, но это факт.

— Это ложь! — закричал Шкарлато. — Средиземский — я.

Два графа ошеломленно меряли друг друга взглядами. Из угла комнаты послышался протяжный стон.

Это не выдержал муки ожидания, выплывая из-под одеяла, третий граф.

— Я ж не виноват! — кричал он. — Разве я хотел быть графским сынком? Любовный эксцесс представителя насквозь прогнившего...

Через пятнадцать минут студенты сидели на твердом, как пробка, матраце Пружанского и обменивались опытом кратковременного графства.

— А про полчок его величества короля датского он говорил?

— Говорил.

— И мне тоже говорил. А тебе, Пружанский?

— Конечно. Он сказал еще, что моя мать была чистая душа, хотя и еврейка.

— Вот старый негодяй! Про мою мать он тоже сообщил, что она чистая душа, хотя и гречанка.

— А обнимать просил?

— Просил.

— А ты обнимал?

— Нет. А ты?

— Я обнимал.

— Ну и дурак!

На другой день студенты увидели из окна, как вынесли, в переулок желтый гроб, в котором покоилось все, что осталось земного от мстительного графа. Посеребренная одноконная площадка загремела по мостовой. Закачался на голове смирной лошади генеральский белый султан. Две старухи с суровыми глазами побежали за уносящимся гробом. Мир избавился от великого склочника.

[1930–1931]

ФЕЛЬЕТОНЫ

В городе Бобруйске произошло несчастье.

Местный фотограф Альберт написал киносценарий. А так как Альберт был тонким ценителем изящного и по рассказам бобруйских старожилов превосходно знал все детали великосветской жизни, то сценарий вышел полнометражный.

Однако Альберт понимал, что в наше суровое время без идеологии — труба. Поэтому, кроме аристократов, в сценарии действовали и лица, совершающие трудовые процессы. Об этом можно было судить уже из одного названия сценария.

Нас три сестры. Одна за графом, другая герцога жена, а я, всех краше и милее, простой беднячкой быть должна. Сценарий Гарри Альберта.

Дописав последнюю строку, Альберт запер свое фотографическое заведение на всякий замок, отдал ключи шурина и, запаковав сценарий в корзинку, выехал в Москву.

Зная по картинам «Кукла с миллионами» и «Медвежья свадьба», что с постановкой «Нас три сестры, одна за графом, другая герцога жена...» сможет справиться только фабрика Межрабпомфильм, Альберт направился прямо туда.

Прождав шесть дней в коридорах, по которым прогуливались молодые люди в развратных шерстяных жилетках и приставских штанах, Альберт попал в литчасть.

— Длинное название! — сразу сказал толстый человек с превосходными зубами, принявший у Альберта его рукопись. — Надо сократить. Пусть будет просто «Три сестры». Как вы думаете, Осип Максимович?

— Было уже такое название... — сумрачно отозвался Осип Максимович. — Кажется, у Тургенева. Актуальнее будет назвать «Герцога жена». Как вы думаете, Олег Леонидович?

Но Олег Леонидович уже читал вслух сценарий Гарри Альберта.

1. Граф Суховейский в белых штанах наслаждается жизнью на приморском бульваре.
2. Батрачка Ганна куёт чего-то железного.
3. Крупно. Голые груди кокетки Клеманс.
4. Крупно. Белой акации ветки душистые или какая-нибудь панорама покрасивше.
5. Надпись: «Я всех краше и милее».
6. Кующая Ганна, по лицу которой каплют слезы.
7. Граф опрокинул графиню на сундук и начал от нее добиваться.

В середине чтения в литчасть вошел лысый весельчак.

— Уже, уже, уже! — закричал он, размахивая короткими руками.

— Что уже, Виктор Борисович? — спросили Олег Леонидович с Осипом Максимовичем.

— Уже есть у нас точно такая картина, — называется «Веселая канарейка»[16], сам Кулешов снимал.

— Вот жалко, — сказал Олег Леонидович. — А сценарий хорош. До свидания, господин Альберт.

И автор сценария «Нас три сестры, одна за графом...» с разбитым сердцем уехал на родину. А «Веселая канарейка», как правильно заметил Виктор Борисович, уже шла на терпеливых окраинах всего Союза.

Был в Одессе кабак «Веселая канарейка», был он при белых. Тут есть все, что нужно Межрабпомфильму для создания очередного мирового боевика: ресторан для коммерции, а белые для идеологии. (Без идеологии нынче — труба.)

В ресторане:

Голые ножки — крупно. Бокалы с шампанским — крупно. Джаз-банд (которого, кстати сказать, в то время в Одессе не было) — крупно. Погоны — крупно. Чья-нибудь грудь «покрасивше» — крупно. Монтаж — перечисленное выше.

Но были в Одессе также и пролетарии. Однако Межрабпому показывать их в обычном виде скучно. Поэтому режиссер Кулешов пролетариев передел. Один в революционных целях приобрел облик князя (визитка, лакированные туфли, цилиндр). Другой в тех же целях ходит в виде блестящего казачьего офицера (шпоры, кинжалы, аромат гор, черные усы).

Таких пролетариев можно показать и крупно.

Действие разворачивается примерно тем же мощным темпом, что и у Гарри Альберта:

1. Отрицательные персонажи наслаждаются жизнью на приморском бульваре.
2. Пролетарии говорят чего-то идеологического.
3. Крупно. Голые груди кокотки.
4. Крупно. Белой акации ветки душистые.
5. Надпись: «Это есть наш последний...»
6. По лицу жены положительного персонажа текут слезы протеста против французского империализма.
7. Кокотка в ванне — крупно. Она же в профиль, сверху, снизу, сбоку, с другого боку.
8. Надпись: «...и решительный...»
9. Чего-то идеологического. Можно копыта лошадей — крупно.
10. Надпись: «...бой»!!!
11. Отрицательный персонаж хочет расстрелять положительного.
12. Князь в визитке и цилиндре спасает его.

После этого на экране показывают фабричную марку Межрабпомфильма — голый рабочий поворачивает маховое колесо.

Мы предлагаем эту марку поскорее заменить. Пусть будет так: голая девушка поворачивает колесо благотворительной лотереи.

Это по крайней мере будет честно. Это будет без очковтирательства.

## ВАША ФАМИЛИЯ?..[17]

(Мюзик-Холл. Обзорение «С неба свалились». Автор неизвестен)

В большом городе встречаются люди, которые скрывают свою профессию. Это беговые жучки, бильярдные чемпионы, поставщики анекдотов для календарей и старушки, обмывающие покойников. Все они почему-то выдают себя за членов профсоюза нарпит. Одеваются они скромно, и лица у них серенькие.

Но среди таких, стыдящихся своей профессии, людей есть прекрасные фигуры. Это еще молодые граждане в котиковых шапочках и розовых кашне. Обедают они в ресторане Союза писателей, а ужинают в артистическом кружке. Они точно знают, с кем и как живет администратор Принципиального театра, скоро ли дадут «заслуженного» резонеру Небесову, а также куда и на каких условиях «покончил» конференсье Саша Бибергал.

Это мародеры, следующие по пятам наступающей или отступающей театральной армии. Это сочинители диких романсов, в которых клеймятся фашисты, песенок шута, где подвергаются осмеянию король и королева. Это поставщики отбросов в неприхотливые театры малых форм. Свои произведения они не подписывают, будучи людьми осторожными.

Но их, как и всех скрывающих свою профессию, быстро находят те, которые в них нуждаются. Старушки сами появляются в тех домах, где лежит покойник. Бильярдные короли тихими голосами предлагают вам сыграть по маленькой, а потом обыгрывают вас дотла. Беговой жучок издали приветствует вас радостными жестами и за двадцать копеек обещает указать лошадь, которая наверное придет первой и сделает вас богатым и счастливым. Молодые люди в котиковых шапочках порхают за кулисами и готовы в кратчайший срок обогатить портфель театра любым произведением — агитдрамой, сельхозводевилем, синтетическим монтажом, предвыборной интермедией или идеологическим обзорением.

С недавнего времени котиковые молодые люди, пробавлявшиеся до сих пор антифашистскими элегиями и агрономическими скетчами, вышли на большую дорогу, теперь они пишут обзорения для московского Мюзик-Холла.

Таинственные анонимы остались верны своей привычке угождать всем господам — Главреперткому, который борется с мещанством, и мещанству, которое борется с Главреперткомом.

Репертком ублажают видом положительных крестьянок в шелковых юбчонках, а соответствующую публику голыми ножками, самодельным джазом и опереточной звездой.

Репертком сначала хмурится. Голые ножки, джаз и звезда пугают его. Но крестьянки в шелковых юбчонках вызывают у реперткома радостную улыбку и одобрительные слова:

— Наконец-то родной наш Мюзик-Холл выходит на широкую дорогу общественности!

Что же касается зрителя, то положительные крестьянки, тоненькими голосками проклинаящие внешних и внутренних врагов, приводят его в замешательство. Это же самое, но в более осмысленном исполнении, он мог бы услышать даром в своем жилтовариществе на вечере самодеятельности! И только голые ножки, звезда и джаз спасают положение.

— Еще можно жить и работать, — говорит зритель. — Совсем как у людей.

Если порядочному драматургу предложат написать пьесу при том условии, что в ней главными действующими лицами должны явиться: зебра из зоосада, два трамвайных пассажира и предводитель сирийского племени друзов, а в качестве вещественного оформления фигурировать: фрезерный станок, полдюжины пуговиц и изба-читальня, — то порядочный драматург немедленно ответит:

— Нет. Занимательного и полезного зрелища, то есть зрелища, на котором широкая масса могла бы отдохнуть душой и телом, я сделать не могу. Полагаю, что этого не могли бы сделать также ни Шекспир, ни Чехов, ни Шкваркин.

Но то, что не под силу мастерам сцены, вполне доступно котиковым молодым людям.

С цыганским смаком они принимают любые заказы.

— Что? Идеологическое обозрение? Прекрасно! Из чего делать? Тридцать девушек? Конечно, голые? Хорошо! Разложение? Два роликобежца? Отлично! Бар? Опереточная звезда? Великолепно! Песенка позэкзотичней? И для комика отрицательный персонаж? Превосходно! Можно типичного бюрократа, — знаете с портфелем...

И котиковые молодые люди, не теряя ни секунды, принимаются за работу. Через два дня великолепное обозрение готово. Называется оно: «С неба свалились». Советский гад и бюрократ (Поль) попадает за границу, где взору его представляется тридцать голых фигуранток, одна американка (голая), артистка Светланова и джаз. Затем действие переносится на территорию нашего отечества, куда гад и бюрократ (Поль) привозит тридцать фигуранток, одну американку (голую), артистку Светланову и джаз. На этом бессмысленное обозрение обрывается.

Во время перерывов, вызванных тем, что ни режиссер, ни актеры не знают, что делать дальше, на сцену выходит конферансье в своем обычном репертуаре, повторяя изо дня в день излюбленные публикой экспромты.

Дирижер, до которого дошли туманные слухи о том, что за границей дирижеры якобы подпевают оркестру, время от времени начинает петь так, как не позволил бы себе петь даже дома с целью досаждения вредным соседям.

Если Мюзик-Холлу не стыдно и он собирается ставить свои «марксистские» обозрения и впредь, то это должно быть обусловлено двумя пунктами:

1. Фамилия автора (ов) широко публикуется (ются).
2. Фотографические их карточки анфас и в профиль вывешиваются в вестибюле театра.

Надо знать, с кем имеешь дело!

1929

1001-я ДЕРЕВНЯ[18]

(«Старое и новое», фильм Совкино. Работа режиссеров Эйзенштейна и Александрова)

Еще каких-нибудь три года тому назад, в то розовое обольстительное утро, когда Эйзенштейн и Александров в сопровождении ассистентов, экспертов, администраторов, уполномоченных и консультантов выехали на первую съемку «Старого и нового»[19], уже тогда было отлично

известно, что нет ничего омерзительнее и пошлее нижеследующих стандартов:

1. Деревенский кулак, толстый, как афишная тумба, человек с отвратительным лицом и недобрыми, явно антисоветскими глазами.
2. Его жена, самая толстая женщина в СССР. Отвратительная морда. Антисоветский взгляд.
3. Его друзья. Толстые рябые негодяи. Выражение лиц контрреволюционное.
4. Его бараны, лошади и козлы. Раскормленные твари с гадкими мордами и фашистскими глазами.

Известно было также, что стандарт положительных персонажей в деревне сводился к такому незамысловатому облику: худое благообразное лицо, что-то вроде апостола Луки, неимоверная волосатость и печальный взгляд.

По дороге в деревню, вспоминая о стандартах, киногруппа Эйзенштейна заливалась смехом. Они думали о том, каких пошлых мужичков наснимал бы в деревне режиссер Протазанов, и это их смешило.

— Счастье, что послали нас! — восклицал Эйзенштейн, добродушно хохоча. — Чего бы тут Эггерт наделал! Небось толстого кулака заснял бы!

— И жену его толстую! — поддержал Александров.

— И осла его, и вола его, — закричали ассистенты, консультанты, эксперты, администраторы и хранители большой печати Совкино, — и всякого скота его. Все это толстое, стремящееся к ниспровержению существующего строя.

— Да что тут говорить! — заключил Эйзенштейн. — Пора уже показать стране настоящую деревню!

Об этом своем благом намерении показать настоящую деревню Эйзенштейн оповестил газеты и сам любезно написал множество статей.

И страна, измученная деревенскими киноэксцессами Межрабпомфильма и ВУФКУ, с замиранием сердца принялась ждать работы Эйзенштейна.

Ждать ей пришлось не так уже долго — годика три.

За это время некие торопливые люди успели построить в Туапсе новый город и два гигантских нефтеперегонных завода, Балахнинскую бумажную фабрику, совхоз «Гигант», Турксиб и прочие многометражные постройки.

А деревенского фильма все еще не было.

По Москве ходит слух ужасный. Говорят, что каждый год один из руководителей Совкино, обеспокоенный тем, что стоимость фильма все увеличивалась, тревожно спрашивал Эйзенштейна:

— А что будет, если картина провалится?

И ходит также слух, что режиссер неизменно отвечал:

— Ничего не будет. Вас просто снимут с работы.

И, дав такой ответ, режиссер с новым жаром принимался за картину, которая должна была изобразить настоящую деревню.

И вот картина появилась на экране.

Настоящая деревня была показана так:

1. Кулак — афишная тумба с антисоветскими буркалами.
2. Жена — чемпионка толщины с антисоветскими подмышками.
3. Друзья — члены клуба толстяков.
4. Домашний скот — сплошная контра.

И — венец стандарта: деревенская беднота, изображенная в виде грязных идиотов.

Сюжет — на честное слово. Ничего не показано. Всему приходится верить на слово. Дело идет о возникновении колхоза, но как он возникает — не показано. Говорится о классовой борьбе в деревне, но не показано из-за чего она происходит.

Утверждается, что трактор вещь полезная. Но эйзенштейновские тракторы бегают по экрану без всякого дела, подобно франтам, фланирующим по Петровке.

Кончается картина парадом сотни тракторов, не производящих никакой работы.

Как же случилось, что замечательный режиссер, сделавший картину «Броненосец Потемкин», допустил в своей новой работе такой штамп? Конечно, Эйзенштейн знал, что не все кулаки толстые, что их классовая принадлежность определяется отнюдь не внешностью. Знал он и то, что собрание ультрабородатых людей в одном месте не обязательно должно быть собранием бедноты.

Несомненно, все это сделано намеренно. Картина нарочито гротескна. Штампы чудовищно преувеличены. Этим Эйзенштейн хотел, вероятно, добиться особенной остроты и резкости и обнажить силы, борющиеся в деревне.

Но штамп оказался сильнее режиссеров, ассистентов, декораторов, администраторов, экспертов, уполномоченных и хранителей большой чугунной печати Совкино. Фокус не удался. Картина, на которой остались, конечно, следы когтей мастера, оказалась плохой.

Оправдались самые худшие опасения помянутого выше одного из руководителей Совкино. Картина провалилась.

Что-то теперь будет с одним из руководителей Совкино?

1929

## БЛЕДНОЕ ДИТЯ ВЕКА[20]

Поэт Андрей Бездетный, по паспорту значившийся гражданином Иваном Николаевичем Ошейниковым, самым счастливым месяцем в году считал ноябрь.

Происходило так не потому, что Андрей Бездетный родился именно в этом месяце и верил в свою счастливую звезду. А также не потому, что эта пора, богатая туманами и дождями, подносила ему на своих мокрых ладонях дары вдохновенья.

Андрей Бездетный просто был нехорошим человеком и уважал даже не весь ноябрь, а только



седьмое его число. К этому дню он готовился с лета.

— Богатое число, — говаривал Бездетный.

В этот день даже «Эмиссионно-балансовая газета», обычно испещренная цифрами и финансовыми прогнозами, — даже она печатала стихи.

Спрос на стихи и другие литературные злаки ко дню Октябрьской годовщины бывал настолько велик, что покупался любой товар, лишь бы подходил к торжественной теме. И нехороший человек Андрей Бездетный пользовался вовсю. В этот день на литбирже играли на повышение:

«Отмечается усиленный спрос на эпос. С романтикой весьма крепко. Рифмы „заря — Октябр“ вместо двугривенного идут по полтора рубля. С лирикой слабо».

Но Бездетный лирикой не торговал.

Итак, с июля месяца он мастерил эпос, романтику и другие литературные завитушки.

И в один октябрьский день Андрей вышел на улицу, сгибаясь, как почтальон, под тяжестью ста шестидесяти юбилейных опусов. Накануне он подбил итоги. Выяснилось, что редакций десять все-таки останутся без товара.

Нагруженное октябрьскими поэмами, кантатами, одами, поздравительными эпиграммами, стихотворными пожеланиями, хорами, псалмами и тропарями, бледное дитя века вошло в редакцию, первую по составленному им списку, редакцию детского журнала под названием «Отроческие ведомости». Не теряя времени, поэт проник в кабинет редакторши и, смахнув со стола выкройку распашонок и слюнявок, громким голосом прочел:

Ты хотя и не мужчина,

А совсем еще дитя,

Но узнаешь годовщину,

Все по пальцам перечтя.

Пальцев пять да пальцев пять

Ты сумеешь сосчитать,

К ним прибавить только три —

Годовщину ты сочти.

— Ничего себе приемчик? — похвалялся Андрей. — Заметьте, кроме общей торжественности, здесь еще арифметика в стихках.

Редакторше стишок понравился. Понравился он также заведующей отделом «Хороводов и разговоров у костра». И уже с громом открывалась касса, когда редакторша застенчиво сказала:

— Мне кажется, товарищ Бездетный, что тут какая-то ошибка. Пять да пять действительно десять. И если к десяти прибавить, как вы сами пишете, «только три», то получится

тринадцать. А ведь теперь не тринадцатая годовщина Октября, а только двенадцатая.

Андрей Бездетный зашатался. Ему показалось, что его коленчатые чашечки наполнились горячей водой. Ведь все сто шестьдесят юбилейных тропарей были построены на цифре тринадцать.

— Как двенадцатая? — сказал он хрипло. — В прошлом году была двенадцатая!

— В прошлом году была одиннадцатая годовщина, — наставительно сказала заведующая отделом «Хороводов». — Вы же сами в прошлом году печатали у нас такой стих:

Пальцев три и пальцев семь —

Десять пальцев будет всем,

К ним прибавь всего один —

Все узнаешь ты, мой сын.

— Да, — сказал Бездетный, ужаленный фактом в самое сердце.

И касса с грохотом закрылась перед его затуманившимися очами.

Всю ночь Андрей, бледное дитя века, просидел за своим рабочим столом. Сто шестьдесят опусов лежали перед ним.

— Как же, — бормотал Андрей, — как же так случилось? Что же теперь будет?

Положение было действительно ужасное.

Девяносто пять произведений трактовали о буржуях, для которых тринадцатая годовщина является поистине чертовой дюжиной. В остальных шестидесяти пяти хоралах Андрей Бездетный высмеивал вредителей и эмигрантов, упирая на то, что цифра тринадцать, как число несчастливое, несет им гибель.

Путь к переделкам был отрезан. Приемчик погиб. Для сочинения новых поздравлений не хватило бы времени.

Только одно новое стихотворение удалось ему написать. Там говорилось о двенадцатом часе революции, который пробил. Это было все, что могла изобрести его жалкая фантазия.

И Андрей Бездетный, подобно чеховскому чиновнику, лег на клеенчатый диван и умер. Поспешив со стихами на целый год вперед, он своей смертью все-таки опоздал на несколько лет. Ему следовало бы умереть между пятой и шестой годовщинами.

1929

## ВЕЛИКИЙ ЛАГЕРЬ ДРАМАТУРГОВ[21]

И он присоединился к великому лагерю драматургов, разбивших свои палатки на мостовой

поезда имени Художественного театра. «Летопись Всеросскомдрама»

Число заявок на золотоносные драматические участки увеличивается с каждым днем. Это можно легко увидеть, прочитав газетные театральные отделы.

«Пахом Глыба закончил для одного из московских театров новую пьесу, трактующую борьбу с бюрократизмом в разрезе борьбы с волокитой».

«Вера Пиджакова работает над пьесой „Легкая кавалерия“. Пьеса вскоре будет закончена и передана в портфель одного из московских театров».

«М. И. Чтоли переделал для сцены исторический роман „Овес“. Пьеса в ближайшем будущем пойдет в одном из московских театров».

Пойдет ли?

Ой ли?

Сколько лет мы читаем о новых пьесах Пахома Глыбы, Веры Пиджаковой и М. Чтоли. Мы узнаем, что пьесы эти закончены, отделаны, переработаны и приняты. Но где этот «один из московских театров», где «Легкая кавалерия», где историческое действо «Овес», с каких подмостков раздаются страстью диалоги, вырвавшиеся из-под пера т. Глыбы?

Нет таких подмостков, нет «одного из московских театров», ничего этого нет.

Есть великий лагерь драматургов, которые разбили свои палатки у подъездов больших и малых московских театров. И в этом лагере еще больше неудачников, чем в любом лагере золотоискателей на берегах Юкона в Аляске.

Под драматургом мы подразумеваем всякого человека, написавшего сочинение, уснащенное ремарками: «входит», «уходит», «смеется», «застреливается».

Первичным видом драматурга является гражданин, никогда не писавший пьес, чувствующий отвращение к театру и литературе. На путь драматурга его толкают тяжелые удары судьбы.

После длительного разговора с женой гражданин убеждается, что жить на жалованье трудновато. А тут еще надо внести большой пай в жилстроительную кооперацию.

— Не красть же, черт возьми!

И гражданин, прослышавший от знакомых, что теперь за пьесы много платят, не теряет ни минуты и в два вечера сочиняет пятиактную пьесу. (Он, собственно говоря, задумал пьесу в четырех действиях, но, выяснив в последний момент, что авторские уплачиваются поактно, приписал пятое.)

Заломив шляпу и весело посвистывая, первичный вид драматурга спускается вниз по Тверской, сворачивает в проезд Художественного театра и в ужасе останавливается.

Там, у входа в театр, живописно раскинулись палатки драматургов. Слышен скрип перьев и хриплые голоса.

— Заявки сделаны! Свободных участков нет!

Те же печальные картины наблюдает новый драматург и у прочих театров. И уже готов первичный вид драматурга завопить, что его затирают, как вдруг, и совершенно неожиданно для автора, выясняется, что пьеса его никуда не годится. Об этом ему сообщает знакомый из

балетного молодняка.

— С ума вы сошли! — говорит знакомый. — Ваша пьеса в чтении занимает двое суток. Кроме того, в третьем акте у вас участвуют души умерших. Бросьте все это!

Все драматурги второго, более живучего вида находятся под влиянием легенды о некоем портном, который будто бы сказал:

— Когда-то я перешивал одному графу пиджак. Граф носил этот пиджак четырнадцать лет и оставил его в наследство сыну, тоже графу. И пиджак вес еще был как новый.

Драматурги второго рода перелицовывают литературные пиджаки, надеясь, что они станут как новые.

В пьесы переделываются романы, повести, стихи, фельетоны и даже газетные объявления.

Как всегда, карманчик перелицованного пиджака с левой стороны перекочевывает на правую. Все смущены, но стараются этого не замечать и притворяются, будто пиджак совсем новый. Переделки все же держатся на сцене недолго.

Третий, самый законченный вид драматурга — драматург признанный. В его квартире висят театральные афиши и пахнет супом. Это запах лавровых венков.

Не успевает он написать и трех явлений, как раздаются льстивые телефонные звонки.

— Да, — говорит признанный драматург, — сегодня вечером заканчиваю. Трагедия! Почему же нет? А Шекспир? Вы думаете разработать ее в плане монументального неореализма? Очень хорошо. Да, пьеса за вами. Только о пьесе ни гугу.

— Да, — говорит драматург через пять минут, отвечая режиссеру другого театра, — откуда вы узнали? Да, пишу, скоро кончаю. Трагедия! Конечно, она за вами. Только не говорите никому. Вы поставите ее в плане показа живого человека? Это как раз то, о чем я мечтаю. Ну, очень хорошо!

Обещав ненаписанную пьесу восьми театрам, плутоватый драматург садится за стол и пишет с такой медлительностью, что восемь режиссеров приходят в бешенство.

Они блуждают по улице, где живет драматург, подсылают к нему знакомых и звонят по телефону.

— Да, — неизменно отвечает драматург, — моя пьеса за вами. Не беспокойтесь, будет готова к открытию. Да, да, в плане трагедии индивидуальности с выпячиванием линии героини.

Но вот наступает день расплаты. Рассадив режиссеров по разным комнатам и страхась мысли, что они могут встретиться, автор блудливо улыбается и убегает в девятый театр, которому и отдает свою трагедию для постановки в плане монументального показа живого человека с выпячиванием психологии второстепенных действующих лиц.

Признанного драматурга не бьют только потому, что избиение преследуется законом.

В таком плане и проходит вся жизнь юконских старателей.

1929

ПРАВЕДНИКИ И МУЧЕНИКИ[22]

(«Обломок империи» — фильм режиссера Эрмлера. «Турксиб» — фильм режиссера Турина)

Это компания праведников, страстотерпцев, мучеников. Одним словом, это были кинорежиссеры. Их было много, человек десять. Они попивали чай и, горько улыбаясь, говорили о судьбах советского кино.

— Ужас! Ужас! — воскликнул маленький и толстый режиссер. — Что им нужно? Чего от нас хотят? И чего требуют?

— От нас требуют советскую картину.

— Но ведь я все время ставлю картины с идеологией, — завизжал толстяк. — Кто поставил картину «Грешники монастыря»? Я. Абсолютно советская картина, а они говорят, что порнография.

— Да, — сумрачно заявил режиссер с вытаращенными глазами. — Порнографии теперь нельзя.

— Вот и скучища выходит, — закричал кинотолстяк. — Какая же это картина без порнографии?

Но не было ответа на этот вопрос. Молчали киноправедники, киномученики, кинострастотерпцы.

— Тяжело! — сказал режиссер с боярской бородой. — Порнография воспрещается, а мистика разве не воспрещается?

— И мистики нельзя.

— Какой кошмар!

— Фокстрота нельзя.

— А детектив разве позволяют?

— И детектива нельзя.

— Просто бедлам.

— До чего докатились!

— Докатились до того, что даже честного комсомольского поцелуя в диафрагму нельзя.

— За поцелуйчик в диафрагму месяца два в газетах шельмуют.

— И тайны минаретов не дозволяются.

— С отчаяния стряпаешь злой агит, но и тут общее недовольство. Говорят — примитив. Невыразительно.

— Умереть хочется. Лечь и умереть. Как Петроний умер.

— Кстати о Петроний. Намедни я фильмик поставил. Из римской жизни. Мистики нет, порнографии нет, фокстрота нет, поцелуя в диафрагму нет. Ничего нет, сплошная история, граничащая с натурализмом, — у меня Нерон на пиру блюет. И что же? Нельзя! Говорят, убого. Это что же? Исторических фильмов уже нельзя? До сердца добираются? За горло

хватают?

Говоривший это седовласый халтурщик в изнеможении опустился на плюшевый диван.

— И разлагающейся Европы тоже нельзя, — добавил молодой человек, как видно, подающий надежды ассистент.

На молодого человека все набросились.

— Открыли Америку. Если б нам разрешили разлагающуюся Европу! О-о-о!

Наговорившись вдоволь, режиссеры разошлись по своим шатрам. Для них все было ясно:

— Конечно. Загубили кинематографию. Амба. Работать невозможно.

Но оказалось, что нет никаких признаков амбы.

В двух последних картинах «Турксиб» и «Обломок империи» нет ни мистики, ни порнографии, ни разлагающейся Европы, ни тайн минаретов, ни блюющих цезарей, ни длиннометражных поцелуев в диафрагму, ни всего того, что компания киноправедников считает элементами, придающими фильму интерес.

И если сказать постановщикам бесконечного числа хламных картин, что именно поэтому и хороши «Турксиб» и «Обломок империи», то они никогда не поверят.

В самом деле: вместо наложницы хана главную роль в «Турксибе» играют рельсы.

Изящного молодого человека с профилем Рамон Наварро в «Обломке империи» заменяет давно небритый унтер-офицер Филимонов.

Здесь есть то, о чем забыли праведники и мученики. Здесь талант, настоящая тема и обыкновенная политическая грамотность.

И на вопли кинорежиссеров, на скорбные вопросы «что же наконец требуется», ответ есть только один:

— Талантливость и умение не отставать от века.

1929

## МОСКОВСКИЕ АССАМБЛЕИ[24]

— Пей, собака!

— Пей до дна, пей до дна! — подхватил хор.

Раздались звуки цевниц и сопелей.

Граф Остен-Бакен уже лежал под столом. (Гуго Глазиус, «История Руси»)

В тот вечерний час, когда в разных концах Москвы запевают граммофоны-микифоны, на улицах появляются граждане, которых не увидишь в другое время.

Вот идет тощий юноша в лаковых штиблетах. Это не баритон, не тенор и даже не исполнитель цыганских романсов. Он не принадлежит к той категории трудящихся (рабис, рабис, это ты!), коим даже в эпоху реконструкции полагается носить лаковую обувь.

Это обыкновенный гражданин, направляющийся на вечеринку. Третьего дня вечеринка была у него, вчера у товарища Блеялкина, а сейчас он идет на ассамблею к сослуживцу Думалкину. Есть еще товарищ Вздох-Тушуйский. У него будут пировать завтра.

У всех — Думалкина, Блеялкина, Вздох-Тушуйского и у самого лакового юноши Маркова — есть жены. Это мадам Думалкина, мадам Блеялкина, мадам Вздох и мадам Маркова.

И все пируют.

Пируют с такой ошеломляющей дремучей тоской, с какою служат в различных конторах, кустах и объединениях.

Уже давно они ходят друг к другу на ассамблеи, года три. Они смутно понимают, что пора бы уже бросить хождение по ассамблеям, но не в силах расстаться с этой вредной привычкой.

Все известно заранее.

Известно, что у Блеялкиных всегда прокисший салат, но удачный паштет из воловьей печени. У пьяницы Думалкина хороши водки, но все остальное никуда. Известно, что скупые Вздохи, основываясь на том, что пора уже жить по-европейски, не дают ужина и ограничиваются светлым чаем с бисквитами «Баррикада». Также известно, что Марковы придут с граммофонными пластинками, и известно даже, с какими. Там будет вальс-бостон «Нас двое в бунгало», чарльстон «У моей девочки есть одна маленькая штучка» и старый немецкий фокстрот «Их фаре мит майнер Клара ин ди Сахара», что, как видно, значит: «Я уезжаю с моей Кларой в одну Сахару».

Надо заметить, что дамы ненавидят друг друга волчьей ненавистью и не скрывают этого.

Пока мужчины под звуки «Нас двое в бунгало, и больше никого нам не надо» выпивают и тревожат вилками зеленую селедку, жены с изуродованными от злобы лицами сидят в разных углах, как совы днем.

— Почему же никто не танцует? — удивляется пьяница Думалкин. — Где пиршественные клики? Где энтузиазм?

Но так как кликов нет, Думалкин хватает мадам Блеялкину за плечи и начинает танец.

На танцующую пару все смотрят с каменными улыбками.

— Скоро на дачу пора! — говорит Марков подумав.

Все соглашаются, что действительно пора, хотя точно знают, что до отъезда на дачу еще осталось месяцев пять.

К концу вечера обычно затевается разговор на политические темы. И, как всегда, настроение портит Вздох-Тушуйский.

— Слышали, господа, — говорит он, — через два месяца денег не будет.

— У кого не будет?

— Ни у кого. Вообще никаких денег не будет. Отменяют деньги.

— А как же жить?

— Да уж как хотите, — легкомысленно говорит Вздох. — Ну, пойдем, Римма. До свиданья, господи.

— Куда же вы? — говорит испуганная хозяйка. — Как же насчет денег?

— Не знаю, не знаю! В Госплане спросите. Наобедаются тогда на фабрике-кухне. Значит, назавтра я вас жду. Марковы принесут пластиночки — потанцуем, повеселимся.

После ухода Вздохов водворяется неприятная тишина. Все с ужасом думают о тех близких временах, когда отменят деньги и придется обедать на фабрике-кухне.

Так пируют они по четыре раза в неделю, искренне удивляясь:

— Почему с каждым разом ассамблеи становятся все скучнее и скучнее?

1929

## ПОЛУПЕТУХОВЩИНА[25]

Время от времени, но не реже, однако, чем раз в месяц, раздается истошный вопль театральной общественности:

— Нужно оздоровить советскую эстраду!

— Пора уже покончить!

— Вон!

Всем известно, кого это «вон» и с кем «пора уже покончить».

— Пора, пора! — восклицают директора и режиссеры театров малых форм.

— Ох, давно пора, — вздыхают актеры этих же театров.

— Скорее, скорее вон! — стонет Главискусство.

Решают немедленно, срочно, в ударном порядке приступить к оздоровлению советской эстрады и покончить с полупетуховщиной.

Всем ясно, что такое полупетуховщина.

Исчадие советской эстрады, халтурщик Полупетухов, наводнил рынок пошлыми романсами («Пылали домны в день ненастья, а ты уехала в ландо»), скетчами («Совслужащий под диваном»), сельскими частушками («Мой миленок не дурак, вылез на акацию, я ж пойду в универмаг, куплю облигацию»), обозрениями («Скажите — А!»), опереттами («В волнах самокритики») и др. и пр.

Конечно, написал все это не один Сандро Полупетухов, писали еще Борис Аммиаков, Луврие, Леонид Кегельбан, Леонид Трепетовский и Артур Иванов.

Однако все это была школа Сандро и все деяния поименованных лиц назывались полупетуховщиной.

Действительно, отвратительна и пошла была полупетуховщина. Ужасны были романсы,



обозрения, частушки, оперетты и скетчи.

И желание театральной общественности оздоровить эстраду можно только приветствовать.

Оздоровление эстрады обычно начинается с созыва обширного, сверхобщего собрания заинтересованных лиц.

Приглашаются восемьсот шестьдесят два писателя, девяносто поэтов, пятьсот один критик, около полутора тысяч композиторов, администраторов и молодых дарований.

— Не много ли? — озабоченно спрашивает ответственное лицо.

— Ну, где же много? Всего около трех тысяч пригласили. Значит, человек шесть приедет. Да больше нам и не нужно. Создадим мощную драмгруппу, разобьем ее на подгруппы, и пусть работают.

И действительно, в назначенный день и час в здании цирка, где пахнет дрессированными осликами и учеными лошадьми, наверху, в канцелярии, открывается великое заседание.

Первым приходит юный Артур Иванов в пальто с обезьяньим воротником. За ним врываются два Леонида, из коих один Трепетовский, а другой Кегельбан. После Луврие, Бориса Аммиакова является сам Сандро Полупетухов.

Вид у него самый решительный, и можно не сомневаться, что он вполне изготовился к беспощадной борьбе с полупетуховщиной.

— Итак, товарищи, — говорит ответливо, — к сожалению, далеко не все приглашенные явились, но я думаю, что можно открывать заседание. Вы разрешите?

— Валяй, валяй, — говорит Аммиаков. — Время не терпит. Пора уже наконец оздоровить.

— Так вот я и говорю, — стонет председатель. — До сих пор наша работа протекала не в том плане, в каком следовало бы. Мы отстали, мы погрязли...

В общем, из слов председателя можно понять, что на театре уже произошла дифференциация, а эстрада безбожно отстает. До сих пор Луврие писал обозрения вместе с Артуром Ивановым, Леонид Трепетовский работал с Борисом Аммиаковым, а Сандро Полупетухов — с помощью Леонида Кегельбана.

— Нужно перестроиться! — кричит председатель. — Если Луврие будет писать с Трепетовским, Сандро возьмет себе в помощники Иванова, а Кегельбан Аммиакова, то эстрада несомненно оздоровится.

Все соглашаются с председателем. И через неделю в портфель эстрады поступают оздоровленные произведения.

Романс («Ты из ландо смотрела влево, где высилось строительство гидро»), скетч («Радио в чужой постели»), колхозные частушки («Мой миленок идеот, убоился факта, он в колхозы не идет, не садится в трактор»), обозрение («Не морочьте голову»), оперетта («Фокс на полюсе») и др. и пр.

И на месяц все успокаиваются.

Считается, что эстрада оздоровлена.

1929

(Диспут о советской сатире в Политехническом музее)

Уже давно граждан Советского Союза волновал вопрос: «А нужна ли нам сатира?»

Мучимые этой мыслью, граждане спали весьма беспокойно и во сне бормотали: «Чур меня! Блюм меня!»

На помощь гражданам, как и всегда, пришло Исполбюро 1 МГУ.

Что бы ни взволновало граждан: проблема ли единственного ребенка в семье, взаимоотношения ли полов, нервная ли система, советская ли сатира — Исполбюро 1 МГУ уже тут как тут и утоляет жаждущих соответствующим диспутом.

«А не перегнули ли мы палку? — думали устроители. — Двадцать пять диспутантов! Не много ли?»

Оказалось все-таки, что палку не перегнули. Пришла только половина поименованных сатириков. И палка была спасена.

Потом боялись, что палку перегнет публика. Опасались, что разбушевавшиеся толпы зрителей, опрокидывая моссельпромовские палатки и небольшие каменные дома, ворвутся в Политехнический музей и слишком уже переполнят зал.

Но и толпа не покусилась на палку. Публика вела себя тихо, чинно и хотела только одного: как можно скорее выяснить наболевший вопрос — нужна ли нам советская сатира?

Любопытство публики было немедленно удовлетворено первым же оратором:

— Да, — сказал режиссер Краснянский, — она нам нужна.

Чувство облегчения овладело залом.

— Вот видите, — раздавались голоса, — я вам говорил, что сатира нужна. Так оно и оказалось.

Но спокойная, ясная уверенность скоро сменилась тревогой.

— Она не нужна, — сказал Блюм,[27] — сатира.

Удивлению публики не было границ. На стол президиума посыпались записочки: «Не перегнул ли оратор тов. Блюм палку?»

В. Блюм растерянно улыбался. Он смущенно сознавал, что сделал с палкой что-то не то.

И действительно. Следующий же диспутант писатель Евг. Петров назвал В. Блюма мортусом из похоронного бюро. Из его слов можно было заключить, что он усматривает в действиях Блюма факт перегнутия палки.

Засим диспут разлился широкой плавной рекой.

После краткой, кипучей речи В. Маяковского к эстраде, шатаясь, подошла девушка с большими лучистыми глазами и швырнула на стол голубенькую записку:

«Почему Вл. Маяковский так груб и дерзок, точно животное, с выступавшим т. Блюмом. Это

непоэтично и весьма неприятно для уха».

Записка подействовала на Маяковского самым удручающим образом. Он немедленно уехал с диспута в Ленинград. Кстати, ему давно уже нужно было туда съездить по какому-то делу.

Писатель Е. Зозуля выступил весьма хитро. Все диспутанты придерживались такого порядка: одни говорили, что сатира нужна, и награждались аплодисментами; другие утверждали, что сатира не нужна, и тоже получали свою порцию рукоплесканий.

Своенравный Зозуля с прямою старого солдата заявил, что плохая сатира не нужна (аплодисменты), а потом с тою же прямою отметил, что хорошая сатира нужна (аплодисменты).

Потом снова выступал В. Блюм. И снова он утверждал, что сатира нам не нужна и что она вредна. По его словам, не то Гоголь, не то Щедрин перегнули палку.

Услышав о знакомом предмете, зал оживился, и с балкона на стол свалилась оригинальная записка: «Не перегнул ли оратор палку?»

Председатель Мих. Кольцов застонал и, чтобы рассеять тяжелые тучи, снова сгущавшиеся над залом, предоставил слово писателю и драматургу В. Ардову.

— А вот и я, — сказал писатель и драматург. — Я за сатиру.

И тут же обосновал свое мнение несколькими веселыми анекдотами.

За поздним временем перегнуть палку ему не удалось, хотя он и пытался это сделать.

— Лежачего не бьют! — сказал Мих. Кольцов, закрывая диспут.

Под лежачим он подразумевал сидящего тут же В. Блюма.

Но, несмотря на свое пацифистское заявление, немедленно начал добивать лежачего, что ему и удалось.

— Вот видите! — говорили зрители друг другу. — Ведь я вам говорил, что сатира нужна. Так оно и оказалось.

1930

## МАЛА КУЧА — КРЫШИ НЕТ[28]

— Любите ли вы критиков? — спросили как-то одну девицу в Доме Герцена.

— Да, — ответила девица. — Они такие забавные.

Девица всех считала забавными: и кроликов, и архитекторов, и птичек, и академиков, и плотников.

— Ах, кролики! Они такие забавные!

— Ах, академики! Они такие забавные!

Не соглашаясь в принципе с огульной оценкой дом-герценовской девицы, мы не можем не

согласиться с нею в частном случае.

Критики у нас по преимуществу действительно весьма забавные.

Они бранчливы, как дети.

Трехлетний малютка, сидя на коленях у матери, вдруг лучезарно улыбается и совершенно неожиданно говорит:

— А ведь ты, мама, стерва!

— Кто это тебя научил таким словам? — пугливо спрашивает мать.

— Коля, — отвечает смысленный малютка.

Родители бросаются к Коле.

— Кто научил?

— Пе-етя.

После Пети след теряется в огромной толпе детишек, обученных употреблению слова «стерва» каким-то дореформенным благодетелем.

И стоит только одному критику изругать новую книгу, как остальные критики с чисто детским весельем набрасываются на нее и принимаются в свою очередь пинать автора ногами.

Начало положено. Из разбитого носа автора показалась первая капля крови. Возбужденные критики начинают писать.

«Автор, — пишет критик Ив. Аллегро, — в своем романе „Жена партийца“ ни единым словом не обмолвился о мелиоративных работах в Средней Азии. Нужны ли нам такие романы, где нет ни слова о мелиоративных работах в Средней Азии?»

Критик Гав. Цепной, прочитав рецензию Ив. Аллегро, присаживается к столу и, издав крик: «Мала куча — крыши нет», — пишет так:

«Молодой, но уже развязный автор в своем пошловатом романе „Жена партийца“ ни единым, видите ли, словом не обмолвился о мелиоративных работах в Средней Азии. Нам не нужны такие романы».

Самый свирепый из критиков т. Столпнер-Столпник в то же время и самый осторожный. Он пишет после всех, года через полтора после появления книги. Но зато и пишет же!

«Грязный автор навозного романа „Жена партийца“ позволил себе в наше волнуемое время оклеветать мелиоративные работы в Средней Азии, ни единым словом о них не обмолвившись. На дыбу такого автора!»

Столпник бьет наверняка. Он знает, что автор не придет к нему объясняться. Давно уже автор лежит на веранде тубсанатория в соломенном кресле и кротко откашливается в платочек. Синее небо и синие кипарисы смотрят на больного. Им ясно, что автору «Жены партийца» долго не протянуть.

Но бывает и так, что критики ничего не пишут о книге молодого автора.

Молчит Ив. Аллегро. Молчит Столпнер-Столпник. Безмолвствует Гав. Цепной. В молчании поглядывают они друг на друга и не решаются начать. Крокодилы сомнения грызут критиков.

— Кто его знает, хорошая эта книга или это плохая книга? Кто его знает! Похвалишь, а потом окажется, что плохая. Неприятностей не оберешься. Или обругаешь, а она вдруг окажется хорошей. Засмеют. Ужасное положение!

И только года через два критики узнают, что книга, о которой они не решались писать, вышла уже пятым изданием и рекомендована главполитпросветом даже для сельских библиотек.

Ужас охватывает Столпника, Аллегро и Гав. Цепного. Скорей, скорей бумагу! Дайте, о, дайте чернила! Где оно, мое вечное перо?

И верные перья начинают скрипеть.

«Как это ни странно, — пишет Ив. Аллегро, — но превосходный роман „Дитя эпохи“ прошел мимо нашей критики».

«Как это ни странно, — надсаживается Гав. Цепной, — но исключительный по глубине своего замысла роман „Дитя эпохи“ прошел мимо ушей нашей критики».

Последним, как и всегда, высказывается Столпнер-Столпник. И, как всегда, он превосходит своих коллег по силе критического анализа.

«„Дитя эпохи“, — пишет он, — книга, которую преступно замолчали Ив. Аллегро и Гав. Цепной, является величайшим документом эпохи. Она взяла свое, хотя и прошла мимо нашей критики».

Случай с «Дитятей эпохи» дает возможность критикам заняться любимым и совершенно безопасным делом: визгливой семейной перебранкой. Она длится целый год и занимает почти всю бумагу, отпущенную государством на критические статьи и рецензии о новых книгах.

И целый год со страниц газет и журналов шлепаются в публику унылые слова: «передержка», «подтасовка фактов», «нет ничего легче, как...» и «пора оставить эти грязные маневры желтой прессы».

Однако самым забавным в работе критиков является неписанный закон, закон пошлый и неизвестно кем установленный. Сводится этот закон к тому, чтобы замечать только то, что печатается в толстых журналах.

Отчаянная, потная дискуссия развивается вокруг хорошего или плохого рассказа, напечатанного в «Красной нови» либо в «Новом мире».

Но появившись этот самый рассказ в «Прожекторе», «Огоньке» или «Красной ниве», ни Столпнер-Столпник, ни Ив. Аллегро, ни Гав. Цепной не нарушат своего закона — не напишут о нем ни строки.

Эти аристократы духа не спускаются до таких «демократических» низин, как грандиозные массовые журналы.

А может быть, Столпнер-Столпник ждет, чтобы за это дело взялся Ив. Аллегро? А Аллегро с опаской глядит на Гав. Цепного?

Разве не забавные люди — критики?

1930

## ПЬЕСА В ПЯТЬ МИНУТ[29]

В вестибюле некоего московского учреждения висят две таблички. Одна висит на левой двери, другая на правой двери. Других дверей в вестибюле нет.

И тем не менее на табличке, украшающей левую дверь, написано:

ЛЕВАЯ СТОРОНА

Что же касается таблички на правой двери, то и там в свою очередь строго указано:

ПРАВАЯ СТОРОНА

Черт знает что такое! Непостижимая вещь!

Кому эти надписи нужны? Младенцам? Но младенцы в это учреждение не ходят. Может быть, эти надписи должны помочь неграмотным разобраться, правая — левая где сторона? Но неграмотные не смогут оценить этой заботы. Они не умеют читать. А если бы даже и умели, то свободно ориентировались бы и без этих надписей.

Удивление растет еще и потому, что вышеназванное учреждение является издательством и посещается исключительно титанами и гениями, то есть писателями и критиками.

Если бы эта статья предназначалась для серьезной профсоюзной газеты под названием «Голос Председателя», то нам не осталось бы ничего, как воскликнуть:

— О чем сигнализирует этот жизненный факт?

И хотя эта статья так и не появится в «Голосе Председателя», но факт все же кое о чем сигнализирует. Сигнализирует он о том, что учрежденский администратор в безумном стремлении выделиться из пестрой толпы завхозов дошел до так называемой ручки.

Можно биться об заклад, что он уже объявил себя сверхударзавхозом и в настоящую минуту, трусливо мигая белыми ресницами, сочиняет новую серию табличек, коими собирается оборудовать учрежденскую лестницу.

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬКА

ВТОРАЯ СТУПЕНЬКА

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬКА

И так далее, по числу ступенек, всего сто сорок девять табличек.

Деятельность сверхударного завхоза глупа, но особенного вреда не приносит. На каждую хорошую мысль неизбежно находится свой дурак, аккуратно доводящий ее до абсурда.

Не страшен, конечно, какой-нибудь вокальный квартет, объявляющий всем и вся, что отныне он становится ударным квартетом имени «Непрерывки и Пятидневки».

Пусть называется. От пошляков не отобьешься.

Но болезненно пугает суперударничество, охватившее некоторых драматургов.

То и дело в газетах появляются телеграммы-молнии о громовых успехах драмударников:

«Драматург-ударник Константин Ваалов в порядке соцсоревнования написал за последний месяц пять актуальных пьес для клубного театра и вызывает на написание такого же количества пьес драматурга Е. Едокова».

«Ударная бригада писателей при доме „Общества по внедрению культурных навыков в слои бывш. единоличников имени М. В. Коленова“ в течение последних трех дней выпустила одиннадцать пьес для деревенской сцены. Пьесы трактуют разные актуальные вопросы и называются:

„Фанька-забойщица“ (Деревенский водевиль с танцами).

„С миру по нитке“ (Крестьянский лубок).

„Шея“ (Народная трагедия в семи актах).

„Голому — рубашку!“ (Хороводное действие).

„Овин“ (Драма).

„Колесо“ (Драма в четырех частях).

„Пахота“ (Драма с прологом и апофеозом).

„Железный конь“ (Деревенская опера).

„Кулак Евтюхин“ (Сцены из жизни).

„Поп Федор нашел помидор“ (Вечер затейников)».

И каждый день приносит все новые грозные вести. Уже Е. Едоков откликнулся на зов Константина Ваалова и в восемнадцать ударчасов написал и успел перепечатать на машинке четыре пьесы, трактующие отход инженерства от нейтральности, а также вопросы использования отходов пряжи на текстильном производстве и вопросы колхозного движения в СССР.

Чтобы окончательно прижать к земле Ваалова, драматург Едоков заявил, что эта работа несколько его не утомила, и в этот же день сочинил трехактную оперетту, к коей написал и музыку, хотя до сих пор никогда музыкой не баловался.

Уже и ударная бригада при «Обществе по внедрению культурных навыков в слои бывш. единоличников имени М. В. Коленова» превзошла свои темпы и увеличила производительность труда на семьдесят три процента.

Уже и в газете появилось радостное сообщение:

«Пьеса в пять минут — комедия „Неполадки в пробирной палатке“».

Речь шла о последних достижениях драматурга Василия Готентодта.

Одним словом, халтурщики бьют в тимпаны.

Тимпан им попался на этот раз очень удобный — идея ударничества. Под прикрытием этого тимпана изготавливаются сотни бешеных халтур.

Но если плакаты завхоза вызывают смех, то ударничество «готентодтов» страшит. Ведь пьесы эти ставятся!

Ведь где-то идет народная трагедия в семи актах «Шея». Ведь по радио уже передают вечер

затейников под названием «Поп Федор нашел помидор». Идет и «Фанька-забойщица», идет и «Овин», и «Пахота».

Спасите, кому ведать надлежит!

Защищайте социализм!

Гоните пошляков!

1930

## ХАЛАТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖЕЛУДКУ[30]

На берегу реки N живописно раскинулся город N. Впрочем, не будем делать загадочного лица... Скажем прямо. На берегу реки Волги живописно раскинулся город Ярославль. Но это еще полбеды. Дело в том, что на одной из его улиц живописно раскинулась кооперативная столовая, вывесившая на стене большой плакат:

### ПИЩА — ИСТОЧНИК ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Конечно, принципиальных возражений против этой концепции быть не может. Даже сам Маркс не смог бы привести никаких доводов против такой железной установки. Между тем отдельные ярославцы, побывавшие в этой столовой, с сумасшедшим упорством настаивают на том, что пища ведет к прекращению жизни человека. Тут, как видно, все дело в том, какая пища... Именно этого недоучел ярославский коопзаведующий, который уделил слишком много внимания идейно-теоретическому обоснованию своей должности, позабыв о чисто практических ее задачах. Забыл он о том, что обед должен быть съедобным.

Иной начстоловой, человек в теле и с философским уклоном, никогда не забудет вывесить анонс: «Перед едой обязательно мой руки», забывая в то же время поставить в столовой раковину. Где ему помнить о скучных мелочах! Он человек возвышенных мыслей и широкого кругозора.

Как это ни удивительно, но такие люди большей частью командуют большими рабочими столовыми, фабриками-кухнями и сверхмощными пищевыми комбинатами.

Они никогда не говорят «еда» или «кушанье». Они говорят «питание». Не «накормить посетителя», а «охватить едока». Блюда у них не «порционные», а «учебно-показательные». Но все-таки основной своей задачей они ставят обеспечение столовой достаточным количеством плакатов и таблиц.

И перед глазами охваченного ужасом едока появляются строгие увещевания в стихах и прозе.

Вводи в организм горячую пищу и разные закуски

Не отвлекайся во время еды разговором, это мешает правильному выделению желудочного сока

Фруктовые воды сулят нам углеводы

Просят о скатерти руки не вытирать

А скатертей и вовсе нет. Столы накрыты липкой нечистой клеенкой. Ножи и вилки прикованы



цепями к ножке стола (чтоб не украли). И при взгляде на заповедь о желудочном соке не только не хочется вводить в организм горячую пищу и разные закуски, но совершенно наоборот. Что же касается слова «углевод», то хотя всем известно, что углевод нужен для продления жизни, но почему-то по ассоциации вспоминается водопровод, а вслед за ним и канализация. Так что фруктовую воду тоже не хочется вводить в организм. Хочется поскорее уйти, выбраться на свежий воздух, посмотреть на солнце, которое еще не успели снабдить надписью:

Глядя на солнечные лучи, не забудь произвести анализ мочи

В обеденные часы заведующий-мыслитель сочиняет отчетный доклад, в коем точно указано, сколько калорий содержал поданный потребителям суп рыбный, сколько витаминов «А» пришлось на одну едоцкую единицу и в какой связи находятся все эти цифровые данные с такими же данными за первый квартал прошлого бюджетного года.

А в это время сама едоцкая единица глядит на еле теплую котлету и отчаянно тоскует:

— Почему эти калории такие невкусные! И витамины какие-то неудобоваримые!

О многом размышляет едоцкая единица и подводит печальный итог:

— Почему такое халатное отношение к желудку? Почему костюм принято шить по росту? Почему ботинки изготавливаются разных размеров, от мальчиковых до дедушковых? Даже воротнички — и те выделяются в зависимости от толщины потребительской шеи! А еда единообразна и явно рассчитана на какой-то отвлеченный, обезличенный желудок.

Хотелось бы подчеркнуть фундаментальность жалоб на обезличенное меню. Судя по тому, как часто люди едят, можно смело, не боясь впасть в ошибку, заключить, что они придают вопросам принятия пищи большое значение.

Едят везде. Едят дома, на улице, на работе, в театре, в кино, едят на стадионах и пароходах, в вагонах и на вокзалах, помаленьку стали есть даже в воздухе. До сих пор в воздухе не ели, не было подходящего помещения, но теперь, с выпуском сорокаместного гиганта, где будет буфет, начнут питаться и на высоте трех тысяч метров над уровнем моря. Говоря кратко, человек ест, где только возможно, подсознательно чуя, что прав ярославский заведующий, что пища действительно источник жизни человека.

Таким образом, мы опять возвращаемся к проклятому вопросу, каким же должен быть этот источник? Эта задача имеет лишь одно решение. Пища не должна быть только механическим сцеплением калорий, витаминов, крахмалов и щелочей. Она обязательно должна быть вкусной, горячей или холодной, если ее принято вводить в организм именно в таком виде.

Но в кино и театрах, в кафе и учрежденческих буфетах ситро подается по возможности горячим, а чай соответственно холодным. На вокзалах дело обстоит еще строже. Там не боятся того, что потребитель начнет жаловаться. Он обычно торопится на поезд и ввиду этого пуглив, как овца. И вот ему подсовывают все, что попадает под руку. Чай пассажиру дают без блюдечка, и он уносит его к своему столику, обжигая пальцы и жалобно подвывая. Впрочем, чаю он так и не пьет. Его горло сжимает тоска. Полными слез глазами он смотрит на жену. Она стоит за дверью перед двумя контролерами и посылает мужу прощальные взгляды. По железнодорожным правилам в буфет пускают только пассажиров дальнего следования по предъявлению ими билетов или плацкарт. Провожающих не пускают. И стоит жена у входа, глотая слезы, большие, как аптекарские пилюли. Это жестоко. Но там, где дело касается вопросов принятия пищи внутрь, там и без того злой чиновник превращается в барса.

Как-то незаметно выработалось не писанное и никакими общественными или

хозяйственными организациями не утвержденное правило, по которому обыкновенная вывеска, висящая над нарпитовским предприятием, играет неожиданно решающую роль.

Если на вывеске написано «Ресторан», то обязательно в помещении чисто, есть скатерти, салфетки, солонки и цветы, перевязанные лентами из розовых стружек. Там есть выбор из пяти-шести блюд, обращение корректное, на стене висят приглашения: «Требуйте горячие пирожки» или «Перед едой мойте руки — первая дверь направо». Кроме того, на эстраде, среди взъерошенных пальм, большой симфонический ансамбль из трех человек играет «Турецкий марш» Моцарта.

Если же на вывеске написано «Столовая», то в помещении не чисто, высоко под потолком горит слабая электрическая лампочка, меню состоит из двух блюд, рассчитанных все на тот же отвлеченный, обезличенный желудок, в каждом посетителе видят жулика, и деньги с оскорбительной настойчивостью требуют вперед. На стенах висят раскрашенные картинки с изображениями детских глистов и трахомных глаз. Летают большие мясные мухи. Оркестра нет — музыку здесь считают выпадом против общественности. И можно не сомневаться, что заведующий здесь занимается главным образом философским обоснованием своей работы, совершенно позабыв о кооперативной заповеди, по которой пища все же источник жизни человека.

1931

## СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА[31]

Начинается это так.

Старый халтуртрегер Многопольский получает письмо, отпечатанное на узкой полоске папиросной бумаги. Многопольского приглашают срочно пожаловать на кинофабрику для ведения переговоров.

Подсознательно чуя, что за папиросной бумажкой скрываются другие бумажки, значительно большей плотности и даже снабженные водяными знаками, литератор быстро является в соответствующий кабинет, где его уже поджидает задумчивая коллегия из девяти человек.

В кабинете имеется только один стул, на котором сидит начальник сценарной части. Остальные начальники разместились на батареях центрального отопления. В комнате грязно, а на столе почему-то стоит чучело филина об одном глазу. На кинофабриках всегда имеются какие-то странные предметы: то медведь с резным блюдом на вытянутых лапах, то автомат для выбрасывания перронных билетов, а то бюст Мазепы.

Коллегия сообщает Многопольскому, что ему пора уже включиться в работу кино и написать сценарий. Многопольский отвечает, что и сам давно хочет включиться и, так сказать, подойти вплотную. Посему, ввиду отсутствия разногласий по творческим вопросам, стороны, улыбаясь, приступают к подписанию типового договора.

— Аванс вы сможете получить уже сегодня, — ласково говорит начальник сценарной части, — но сначала вы нам напишите краткое либретто.

— Видите, — морщится Многопольский, — либретто у меня еще как-то не сложилось.

— Ну, так примерную тему напишите.

— Тема тоже как-то еще не сложилась, не отлилась...

— Ну, что-нибудь напишите!

— То есть как что-нибудь?

— Ну, что-нибудь, чтоб, одним словом, была бумажка, оправдательный документ.

Многопольский наваливается животом на стол и проворно набрасывает краткую заметку, в которой очень часто встречаются выражения: «в плане» и «в разрезе».

Одноглазый филин печально смотрит на халтуртрегера. Он знает, чем все это кончится.

В первый месяц совесть не слишком мучит Многопольского. Он не включается и не подходит вплотную к кинодеятельности и в последующие четыре месяца. И только, когда ему приносят на тонкой папиросной бумаге приглашение в двадцать четыре часа сдать сценарий или в тот же срок вернуть полученный аванс, Многопольский чувствует, что спасения нет. Но он крепится. Даже опись имущества не толкает его к исполнению договора. Он надеется на чудо. Но чудо не приходит. Вместо него, стуча сапогами по лестнице, в квартиру литератора поднимаются возчики. Они приехали за мебелью.

Тут больше нельзя тянуть ни одной секунды. Многопольский запирает дверь на ключ и, покуда возчики стучатся и грозят милицией, пишет со сверхъестественной быстротой:

ЕЕ БЕТОНОМЕШАЛКА

Сценарий в 8 актах.

1. Из диафрагмы: Трубы и колеса.

2. Крупно: Маховое колесо.

3. Крупно: Из мелькающих спиц колеса выплывает лицо молодой ударницы Авдотьюшки.

4. Надпись: «На фоне все усиливающегося кризиса капитализма цветет и наполняется индустриальным содержанием красавица Дуня».

Пишется легко и быстро, к тому же подбадривают крики и ругательства возчиков на лестничной площадке. В ту минуту, когда силами подоспевшей милиции взламывается дверь, сценарий «Ее бетономешалка» готов.

На киноколлегию сценарий производит двойственное впечатление. Им, собственно, сценарий нравится, но они, собственно, ожидали чего-то другого. Чего они ждали, они и сами не знают, но чего-то ждали, чего-то большего.

Начальники отделов тоскливо мычат, маются, не находят себе места. Однако тот факт, что перед ними лежит рукопись, бумажка, какой-то оправдательный документ, их удовлетворяет.

— Все-таки есть от чего оттолкнуться, — говорит начальник сценарного отдела, стараясь не смотреть на мудрого филина. — Но, безусловно, надо кое-что добавить.

— Что ж, можно, — с готовностью отвечает Многопольский. — А что именно?

— Ну, что-нибудь такое. Чтоб все-таки было видно, что над сценарием работали, исправляли, переделывали.

— Тут, например, — раздается равнодушный голос с подоконника, — недостаточно отражена проблема ликвидации шаманизма в калмыцких степях.

— Шаманизма? — бормочет Многопольский, сильно напуганный возчиками. — У меня, между

прочим, действие разворачивается в ЦЧО, но вопросы шаманизма можно вставить. Я вставлю.

Литератора просят также вставить еще вопросы весенней путины и разукрупнения домовых кустов, а также повернуть проблему вовлечения одиноких пожилых рабочих в клубный актив.

— Можно и пожилых, — соглашается Многопольский, — можно и одиноких.

При виде сценария, изготовленного в плане индустриальной поэмы и в разрезе мобилизации общественного внимания на вопросах борьбы с шаманизмом и жречеством в калмыцких степях, режиссер зеленеет. Неумеющей рукой он отталкивает сочинение.

— Душечка, — шепчет ему начальник производственного отдела, — так нельзя. За сценарий деньги плачены. Надо ставить.

— Но ведь это написано в плане бреда, — лепечет режиссер.

Все же в конце концов ставить картину он соглашается. Как-никак оправдательный документ у него есть. Дали ему ставить, он и ставит. Кроме того, прельщает возможность съездить в калмыцкие степи, подобрать интересный экзотический типаж.

Через год в маленьком просмотрном зале задумчивая коллегия принимает картину. Когда зажигается свет, озаряя перекошенные ужасом лица, начальник всей фабрики сурово говорит:

— Картину надо спасать! В таком виде она, конечно, показана быть не может.

— Я думаю, что сюда надо что-нибудь вставить, — говорит молодой человек, которого видят здесь в первый раз и который неизвестно как сюда попал.

Коллегия с надеждой смотрит на молодого человека.

— Конечно, переработать, — продолжает неизвестный. — Во-первых, нужно выкинуть весь мотив бетономешалки. Дуня должна заняться соевой проблемой. Это теперь модно, и картина определенно выиграет. И потом, почему активист Федосеич не перевоспитал шамана? В чем дело?

— Так его сразу и перевоспитаешь! — бурчит режиссер.

— А очищающий огонь революции вы забыли? — торжествующе спрашивает молодой человек.

После такого неотразимого аргумента спасти картину поручают именно ему. Спасение продолжается долго, очень долго и почему-то влечет за собой экспедицию в Кавказскую Ривьеру.

После нового просмотра (картина называется теперь «Лицо пустыни») члены коллегии боятся смотреть друг другу в глаза. Ясно одно — картину надо снова спасти. Несуразность событий, разворачивающихся в картине, настолько велика, что ее решают трактовать в плане гротескного обозрения — ревью с введением мультипликации и юмористических надписей в стихах.

— Вот кстати, — кричит заведующий какой-то частью, — я как раз получил циркуляр о необходимости культивировать советскую комедию.

И все сразу успокаиваются. Бумажка есть, все в порядке, можно и комедию.

Два выписанных из Киева юмориста быстро меняют характер индустриально-соевой поэмы. Все происходящее в картине подается в плане сна, который привиделся пьяному несознательному Федосеичу.

Наконец, устав бороться с непонятным фильмом, его отправляют в прокат. Его спихивают куда-то в дачные кино, в тайной надежде, что пресса до него не докопается.

И долго коллегия сидит в печальном раздумье: «Почему же все-таки вышло так плохо? Уж, кажется, ничего не жалели, все отразили, проблемы все до одной затронули! И все-таки чего-то не хватает. В чем же дело?»

1931

## И СНОВА АХНУЛА ОБЩЕСТВЕННОСТЬ[32]

Тем временем Эдисон начал производить какие-то непонятные манипуляции. Покрыв барабан тонким сквозным листом, он принялся вращать ручку, одновременно произнося слова бессмертного стихотворения:

У Мери была маленькая овечка,

Маленькая овечка была у Мери.

Затем он привел цилиндр в исходное положение, снял с него первую крышку, заменил ее другой и снова принялся вертеть ручку в первоначальном направлении. Вдруг негромко, но явственно послышался голос Эдисона, рассказывающий достопамятное приключение Мери и овечки.

Так появился на свет младенец-граммофон, лепеча приличествующие его возрасту детские стишки. Это было в 1877 году.

С тех пор граммофон вырос, возмужал в неимоверной степени, сильно поистаскался от блудливой жизни и в 1931 году, совершенно забыв о маленькой невинной Мери, передает речитативное бормотание джаз-квартета:

Как тебе не стыдно красть в воскресенье,

Когда для этого есть —

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница и суббота.

Как тебе не стыдно изменять жене в воскресенье,

Когда для этого есть —

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница и суббота.

Тем временем Музтрест производил какие-то непонятные манипуляции. За время длинного пути от овечки к джазу граммофон потерял трубу. Но в Музтресте долго не могли свыкнуться с исчезновением этого чудного придатка. Там, как видно, считали, что граммофон с ужасной железной трубой — это инструмент, идеологически выдержанный, достойный того, чтобы его изготавливать на советских фабриках, а граммофон-чемодан — это символ разложения, бытового загнивания и даже сползания в мелкобуржуазное болото. В связи с этим граммофон без трубы долго находился под подозрением.

Собственно говоря, пропасть между хорошим портативным граммофоном и советской общественностью образовалась не случайно. Ее вырыли молодые пижоны.

Покуда общественность в различных конференц-залах яростно дискуссировала вопросы театра, литературы и кино, покуда выясняли, кто похитил три такта из песенки «Пой, ласточка, пой», покуда горячо спорили, какие нужно делать фильмы — хорошие или плохие — и сколько шагов назад сделал Камерный театр, пижоны завладели граммофоном.

Молодые люди в широких сиреневых панталонах и дамских беретах с превеликими трудами обзавелись заграничными граммофонами и, виляя бедрами, пустились в пляс. В квартирах под шелковыми абажурами замяукали, засвистали немецкие и американские джазы. Рев стоял страшный.

«Как она прекрасна, когда переходит улицу», — стонали граммофоны.

«Я не имею беби», — жаловался томный голос.

«Август, где твои волосы?»

Обернувшись к граммофону, общественность только ахнула.

Оглушенные хрипом саксофонов, визгом каких-то особенных дудочек и топотом резиновых подошв, смутились даже умные люди. Граммофон-чемодан был скомпрометирован. И Музтрест, пользуясь смятением, с новой силой налег на выпуск громоздких купеческих граммофонов с расписными трубами.

Вслед за этими древними машинами протаскивался в массы соответствующий древний репертуар, который по мысли «знатоков рынка» должен был противостоять тлетворному влиянию фокстрота.

Выбор пластинок был велик.

И был примерно таков:

«Марш Буланже», соло на тубофоне.

«Мельница в лесу», сельская картинка в исполнении оркестра духовых инструментов с подражанием кукушке, пению петуха, водопаду и ропоту ручейков.

«От бутылки вина не болит голова», старинная русская песня в исполнении оркестра великодержавных инструментов.

«А болит у того, кто не пьет ничего», старинная русская песня...

«Был у Христа-младенца сад», романс.

Конечно, удовлетворялись и более высокие требования. Продавались пластинки с сольными ариями, симфонической музыкой, квартетами, вообще принимался во внимание любитель музыки.

Теперь предоставим слово любителю.

Однажды он в магазине Музтреста на Тверской купил четыре пластинки.

На одной была наклейка «„Риголетто“, ария герцога». Но пластинка эта почему-то играла «Тоску», арию Каварадосси. На обороте была наклейка «„Тоска“, ария Каварадосси». По счастливому стечению обстоятельств там оказалась ария герцога из «Риголетто».

Вторая пластинка сообщала: «„Богема“, музыка Леонкавалло». С этим нововведением Музтреста примириться невозможно — «Богему» написал Пуччини, а не Леонкавалло.

На третьей пластинке Музтрест отказался от русского языка. Перешел на итальянский. Но привычка к ошибкам его не оставила. Вместо «Ла донна е мобиле» написано «Ла донна е нобиле». Написали просто по инерции. «Нобиле»[33] — это известно, что такое, — генерал, которого спасали, а вот «мобиле» — это дело темное, чисто итальянское.

На четвертой пластинке этикетка была в порядке, но сама пластинка не играла. Раздавалось только шипенье и какие-то вздохи.

Слышал автор и увертюру к «Спящей красавице», где в музыку врывается стук молотка. Стучали где-то по соседству со студией. Очевидно, Музтрест перестраивал работу, воздвигая на сей предмет новую фанерную перегородку.

Общественность снова ахнула.

Нужно было срочно продискуссировать вопрос:

Что лучше: граммофон с трубой и с «Мельницей в лесу» или граммофон без трубы и с чарльстоном «Я не имею беби»?

Тут было над чем подумать.

И вдруг выяснилось, что лучше всего граммофон без трубы, без «Мельницы в лесу» и без «Я не имею». Оказалось, что нужен хороший легкий современный граммофон с хорошей современной пластинкой.

И эта мысль настолько актуальна, что ее необходимо в исполнении Качалова записать на пластинку и распространить среди потребителей.

Для начала новой граммофонной эры это будет очень хорошо.

1931

## ЛЮБИТЕЛИ ФУТБОЛА[34]

Для всех граждан лето кончилось. Граждане уже ходят в калошах, покорно ожидают гриппа, часто подходят к трубам центрального отопления и ласкают их холодными пальцами.

А для ревнителю футбола — лето еще в самом разгаре. Тесно сидят они на стадионе, накрыв головы газетами, и по их щекам стекают толстые капли. И неизвестно — дождь ли бежит по щекам ревнителю или слезы восторга перед классной игрой.

Несколько раз в году бывают светлые и удивительные, почти что противоестественные дни, когда в Москве не происходит ни одного заседания. Не звенят в эти дни председательские

колокольчики, никто не просит слова к порядку ведения собрания, не слышны замогильные голоса докладчиков.

Все ушли. Ушли на стадион «Динамо» смотреть футбол.

Со всех сторон на Страстную площадь стекаются любители футбольной игры, юные и пожилые ревнители физкультуры. Отсюда на стадион «Динамо» ведет прямая дорога. Отсюда многотысячные толпы идут напролом.

Именно здесь, на этой прямой, образованной из Тверской улицы, Ленинградского шоссе и «показательного километра», произошел первый и пока единственный в мире случай, когда пешеходы задавили автомобиль.

Повторяем. Не автомобиль задавил пешехода, а пешеходы задавили автомобиль.

Драма разыгралась на «показательном километре». Нетерпеливые ревнители футбола, завидев шероховатые серые бастионы «Динамо», просвечивавшие сквозь кущи Петровского парка, развили недозволенную скорость и мгновенно смяли мирно пересекавший дорогу «фордик», модель «А». «Форд» визжал, как зайчик. Но было поздно. По нему прошло пятьдесят тысяч человек, после чего потерпевший, естественно, был сдан в утиль.

На этой же прямой некая старушонка, прибывшая из Можайска в день матча, безрезультатно простояла в трамвайной очереди восемь часов кряду и, так ничего и не поняв, уехала обратно в Можайск.

Положение обыкновенных граждан в такой день ужасно. Все пути сообщения заняты любителями. Размахивая руками и громко делясь догадками насчет предстоящей игры, они захватывают вагоны, мостовые, тротуары, окружают одиночные такси и с молящими лицами просят шофера отвезти их на стадион, просят как нищие, со слезами на глазах.

В общем, так или иначе, счастливые обладатели билетов (обычно это организованные через завкомы зрители) подбираются к стадиону. Здесь их ожидают еще большие толпы. Это неорганизованные зрители, которые билетов не достали и не достанут. Пришли они в надежде на чудо.

Расчет простой: у кого-нибудь из пятидесяти тысяч заболит жена или приятель. «Бывают же такие случаи», — мечтает неорганизованный зритель. И этот «кто-нибудь» продает свой билет. Или вдруг какой-нибудь полусумасшедший индивидуум, пробившись к самым воротам северной трибуны, раздумает; вдруг кто-то не захочет идти на матч. И тоже продаст свой билет.

Но напрасно неорганизованный зритель умильно заглядывает в глаза зрителя организованного и шепчет:

— Нет у вас лишнего билетика?

Все напрасно. Жены и приятели в такой день не болеют, а полусумасшедших индивидуумов и вовсе нет.

Утверждают, впрочем, что какой-то оригинал предложил свободный билет на круглую трибуну. Едва он сообщил об этом, как утонул в толпе неорганизованных зрителей. Минуты две продолжалось тяжелое топтанье и возня, а когда все разошлись с раскрасневшимися лицами, на месте происшествия были найдены только две пиджачные пуговицы и кучка пепла. И никто до сих пор не знает, куда девался опрометчивый собственник билета.

За полчаса до начала матча, когда зритель идет косяком, как сельдь, а машины, собравшиеся со всей Москвы, выстраиваются в длинную веселую ленту, кинофабрика высылает



съемочную группу, которая быстро накручивает кадры, изображающие уличное движение в Нью-Йорке. Это необходимо для картины «Акула капитала».

Бетонные откосы стадиона заняты сплошь. На северной трибуне зрители разворачивают пакетики и, волнуясь, закусывают (они не успели пообедать). На южной, солнечной, трибуне устраивают из газет дурацкие смешные треугольники и фунтики и напяливают их на головы.

Наконец звучит четырехтонный судейский гудочек. Все невольно вздыхают. Курящие заранее закуривают, чтобы потом не отвлекаться, а некурящие кладут в рот мятные драже «пектус» и нервно цокают языками.

Матч проходит с возмущающей душу любителя быстротой. Хотя игра длится полтора часа, но любителю чудится, что его обманули, что играли только две минуты. И даже в эти две минуты судья был явно пристрастен к одной из сторон. Любителю всегда кажется, что судья кривит душой и неверно судит, что нападающая пятерка недостаточно быстро бегают, а левый край вообще ни к черту, размагнитился окончательно, и гол дали с офсайта, и вообще, будь он, любитель, на поле, все было бы гораздо интересней, правильней и лучше.

Но все же любитель футбола хороший и настоящий человек. Он молод. Он волнуется, кипит, болеет душой, высоко ценит дружную игру команды, точную передачу мяча и верный удар по воротам. Он не любит мазунов и так называемых индивидуалов, которые «заматываются», играют сами за себя и портят всю чудесную музыку футбола.

Ни одно зрелищное предприятие не может похвалиться такой обширной рабочей аудиторией, как стадион в день большого международного матча. «Рабочая полоса» занимает здесь девять десятых всех мест.

Конец второго тайма проходит в сумерках. Над полем пролетает тяжелый почтовый самолет. Он еще освещен солнцем, а на трибунах уже ясно видны спичечные вспышки. В эту тихую минуту, когда, для того чтобы отыграть, остается только несколько драгоценных мгновений и игра достигает предельного напряжения, с места поднимается первый пижон в белой замшевой кепке и, ступая по ногам, устремляется к выходу. Его увлекает мечта попасть в пустой вагон трамвая. Сейчас же, вслед за этим событием, определяется число пижонов, присутствующих на матче. Их примерно три тысячи человек. Они срываются с места и, обезумев, бегут к выходу. Это жалкие люди, которым трамвай дороже футбола. Их презирают как штрейкбрехеров.

В то время как они с визгом, кусая друг друга, борются за местечко на конечной остановке трамвая, весь массив зрителей переживает последние неповторимые комбинации футбольного боя.

И еще минуту спустя после финального свистка все сидят неподвижно, встают без суеты и чинно выходят на шоссе, поднимая облака пыли. Тут, на «показательном километре», обсуждается игра и выносятся окончательные суждения о том или ином игроке.

Здесь плохо приходится одиночке. Хочется поделиться, а поделиться не с кем. С жалобной улыбкой подбегает одиночка к группам и заговаривает с ними. Но все заняты спором, и появление нового собеседника встречается холодно. Плохо одиночке!

На последнем большом матче приключилась беда с великим любителем футбола. Он был на стадионе в большой компании, но при выходе растерял приятелей в толпе. И случилось для него самое ужасное — не с кем было поделиться впечатлениями.

Он метался среди чужих равнодушных спин, не зная, что делать. Впечатления распирали его. И, не будучи в силах сдержать чувства, он решил послать кому-нибудь телеграмму. Но кому?

Результатом всего этого явилось следующее происшествие: в городе Сызрани, ночью, почтальон разбудил мирного служащего, дядю указанного любителя, и вручил ему телеграмму. Долго стоял захолустный дядя, переступая босыми ногами по холодному полу и силясь разобрать непонятную депешу:

«Поздравляю счетом три два пользу сборной тчк Турции выделялся левый край Ребии зпт большим тактом судил Кемаль Рифат зпт обрадуй тетю».

Дядя не спал всю ночь. Тетя плакала и тоже ничего не понимала.

1931

## КОРОЛЬ-СОЛНЦЕ[35]

Каждую весну в кругах, близких к малым формам искусства, начинается обсуждаться вопрос о Молоковиче.

— Куда девался Молокович?

— Действительно, был человек и вдруг исчез!

— Что могло случиться с Молоковичем? Неужели и его успели проработать и загнать в бутылку? А уж такой был бодрый, такой живучий.

— Может быть, он умер?

— Все возможно.

И в кругах, близких к малым формам искусства, качают головами.

— А какой был халтурщик! Прямо скажу — не халтурщик, а король-солнце, царь-кустарь! Помните, как он впихнул в птицеводческий журнал «Куриные ведомости» стишок про путину, героический стих о рыбе? И когда редактор стал упираться и кричать, что ему нужно о птицах, Молокович сразу нашелся. «Я, говорит, написал не про обычную рыбу, а про летающую. Так что это по вашему ведомству». В общем, схватил деньги и убежал.

— Да. Невероятный был человек!

И нельзя понять: говорятся эти слова с порицанием или с тайным восхищением.

Подходит лето. О Молоковиче начинают забывать. А осенью всем уже кажется, что никогда такого человека и не было, что все это журналистские басни, веселая сказка о чудо-богатыре.

И вдруг к 7-му ноября Молокович неожиданно возникает из небытия. И не просто возникает. Блеск, сопровождающий его появление, так ослепителен, что в кругах, близких к малым формам, только ахают.

Имя Валерьяна Молоковича появляется сразу в шестидесяти изданиях. Тут и еженедельники, и полудекадниги, и двухнедельники, и ведомственные газеты, выходящие через день, и праздничные альманахи, и сборники молодежных песен, и бюллетени, и руководства для затейников. И во всех этих органах Валерьян Молокович уверенным голосом поет хвалу Октябрю и неустрашимо заявляет себя сторонником мировой революции.

— Да, этот умрет, — шепчут работники малых форм. — Дождешься. Смотрите, что он написал в альманахе «Гусляр-коллективизатор». Смотрите:

Призадумались ужи,

Нет у них родной межи,

Сдул Октябрь межей преграду.

Плохо нонче стало гаду.

Перед праздниками всех редакторов охватывает беспокойство. С утра до вечера делятся редакционные совещания. До зарезу нужны праздничные стихи. Во всех редакциях, будь это даже редакция журнала для диспетчеров или для специалистов по алюминию, считают, что в такой день выйти без стихов невыносимо.

А стихов нет.

— А может, можно как-нибудь в прозе отметить, — говорит молодой, неопытный сотрудник.

На него испуганно кричат:

— Вы с ума сошли! В такой день и вдруг без стихов!

— Кому заказать? Безыменский уехал. Жаров после юбилея стал какой-то гордый, Психович отказался... Кто же нам напишет? Тем более что нам нужен стих одновременно и юбилейный и чтоб была проблема увеличения яйценоскости кур. Эх! Некрасова нет!..

А Молокович уже стоит в коридоре. И в руках у Молоковича стих. И в стихе есть все: и октябрьская годовщина, и потребная проблема, и сверх программы — мотивы международной солидарности, и достойная отповедь румынским боярам, и производительность труда, и даже совершенно свежий вопрос — снижение цен на тридцать процентов. Когда только поэт успел, — понять невозможно. Лишь сегодня утром вышел декрет, а он уже отобразил его в художественной литературе.

Невероятный человек! Птица Сири́н! Гений! Король-солнце!

Ну, как его не обласкать?

В предпраздничные дни Молокович мечется по городу, вручая редакциям свои сочинения. Так в дореволюционное время по квартирам ходили трубочисты и вручали стихотворение, напечатанное на отдельном листке бумаги и украшенное эмблемами дымоходного дела: лестницей, ложкой, гирей и гусиным крылом.

Стихи у трубочистов были незамысловатые:

Мы, трубочисты, поздравляем

Вас с новым годом, господа,

И с новым счастьем желаем

Отдохновенья вам всегда.

Трубочистам отвечали в прозе: «И вас также» — и давали полтинник.

Так бы надо поступать и с Молоковичем. Когда он является в редакцию и подает свое произведение, смысл которого, в общем, сводится к одному:

Я, Молокович, поздравляю

Вас с новым годом Октября,

Отдохновенья вам желаю

На дивном поприще труда, —

ему нужно отвечать: «И вас также». Полтинника при этом давать не нужно. Стихов тоже не нужно печатать.

И погибнет навеки король-солнце, невероятный человек, автор бесчисленных юбилейных песнопений — быстроногий Молокович.

В борьбе с халтурой, будничной и праздничной, установилась традиция — ругать только халтурщиков, совершенно забывая при этом о редакторах.

Это несправедливо.

1931

ТАК ПРИНЯТО[36]

С необыкновенным упорством цепляется цирк за свои стародавние традиции. В этом смысле он может сравниться разве только с английским парламентом.

Как уже сотни лет заведено, парламентский спикер носит длинный парик и сидит на мешке с шерстью. Так принято! И до сих пор шпрыхсталмейстер выходит на арену в визитке и произносит свои реплики неестественным насморчным голосом. Так полагается!

Приезжая в парламент, король троекратно стучит в дверь и просит позволения войти, а члены палаты общин делают вид, что очень заняты и не имеют времени для разговора с королем. Так тоже принято! Клоун в цирке, закончив свой номер, устраивает эффектный уход с арены — ползет на четвереньках, оглушительно стреляя из наиболее возвышенной в эту минуту части тела. Так тоже полагается!

Вообще задавать цирковым деятелям вопросы, почему делается так, а не иначе, — бессмысленно.

Делается потому, что полагается. А почему полагается? Очень просто! Так принято. А вот почему принято — этого уже никто не знает.

И течет традиционная цирковая жизнь.

С сумерками зажигаются у входа электрические лампы, освещая огромный плакат. Здесь нарисован бледный красавец с черными усиками, который держит в вывернутой руке бич. Чудные лошади с русалочьими гривами пляшут перед ним на задних ногах. Это называется «Табло 30 лошадей».

Когда лошадиное табло под звуки туша предстает перед зрителем, все знающие счет могут засвидетельствовать, что лошадей всего лишь восемь.

Однако тут нет никакого жульничества. Просто так принято. На афише пишется тридцать, а на арену выводится восемь. И если бы появились внезапно все тридцать лошадей, то это было бы прямым нарушением традиций.

По этой же цирковой арифметике сорок пожилых львов называются: «100 львов 100», а пятнадцать крокодилят именуются: «60 нильских крокодилов, кайманов и аллигаторов».

Когда же на афише возвещается: «48 дрессированных попугаев. Чудо психотехники!» — то всем вперед известно, что будет только один дрессированный попугай, который умеет говорить два слова: «люблю» и «фининспектор». Остальные четыре попугая будут сидеть на металлической этажерочке с блестящими шариками, изредка переворачиваясь вниз головой для собственного удовольствия.

В антракте шпрыхсталмейстер напыщенно сообщает публике, что желающие могут сходить в конюшню посмотреть зверей. За вход двадцать копеек. Дети бесплатно.

Почему надо платить еще по двадцати копеек, когда за билеты уже заплачено сполна, — неизвестно. Дирекция и сама этого не знает. Ей двугривенные, собственно, не так уж и нужны. Но традиция! Приходится брать. С детей, например, не берут. В традициях цирка — дружить с детьми.

В цирке есть некий военно-морской чин. Это капитан. Далеко не каждый может назваться капитаном. Акробаты, жонглеры, клоуны, наездники или роликобежцы никогда не бывают капитанами.

О, капитан — это тонкая штучка! Капитан — это укротитель львов, или тигров, или крокодилов. Но это еще не главный капитан.

Главный капитан совершает полет смерти.

Уже в начале представления зрители замечают какие-то новые, невиданные до сих пор приспособления: подвешенные к куполу рельсовые пути, решетчатые башенки и загадочный предмет, завернутый в брезент, который обычно висит над оркестром.

В антрактах капитан в розовом купальном халате ходит по балкону, собственноручно проверяя крепость тросов и других снастей. Капитан никому не доверяет. Капитан надеется только на самого себя.

К его номеру готовятся целый час. Стучат молотки, слышится иногда треск мотора, наконец появляется жена капитана, его братья и другие родственники. Моторы гудят еще сильнее, дается полный свет, и капитан мужественно выходит на арену.

На нем кожаный костюм, авиационный шлем и страшные мотоциклетные очки. Тут начинается прощанье. Так полагается.

Капитан целует жену. Жена сдерживает рыдания и жестами (по-русски говорить она не умеет) показывает, что она против этого смертельного номера. Она предчувствует, что сегодня

произойдет несчастье. Капитан трясет руки братьям и родственникам. Братья качают головами. О, если бы они умели говорить по-русски! Они громко крикнули бы, что капитана нужно удержать от его безумного намерения. Даже шпрыхсталмейстер подносит к глазам платок. Каждый вечер он наблюдает полет смерти и все же не может удержаться от слез.

Но капитан неумолим. Он делает публике прощальный жест рукой, отталкивает жену и садится в свой снаряд.

В общем, совместными усилиями дирекции и родственников капитана на публику нагоняют такой ужас, что многие бегут из цирка, чтобы не быть очевидцами гибели славнейшего из капитанов.

Самый номер занимает шесть секунд и в сравнении с подготовительными душераздирающими сценами кажется не таким уже страшным. Полет, конечно, трудный и опасный, но можно было бы обойтись и без пугания зрителя. Однако это не в традициях цирка.

Разговорный жанр оказался наиболее слабым местом в цирковых твердынях. Под напором худполитсоветов, печати и месткома традиция дала трещину. В репертуар просочилась современность. Музыкальные сатирики приобщились к эпохе.

Но здесь произошло нечто весьма недоброе. Одна плохая традиция сменилась другой плохой традицией. Цирку почему-то достались объедки со стола сатиры и юмора, и без того не блещущего обилием блюд.

И когда в программе появляется извещение о том, что выступят «авторы-юмористы и певцы-сатирики в современном репертуаре», то сомневаться не приходится — рефрен будет старый, так сказать, «доходящий» до публики, а куплеты некоторым образом идеологически выдержанные.

Все это делается по заведенному порядку.

Сначала на колесиках выезжает пианино, а за ним в блестках и муке выходят певцы-сатирики и начинают громить различные неполадки.

Первый сатирик:

Вчера зашел я в Лигу наций,

Там звали всех разоружаться...

Второй сатирик:

А ты не видел? У Бриана

Торчали пушки из кармана!

Публика печально слушает. Тогда сатирики выкладывают второй куплет, непосредственно

относящийся к внутреннему положению.

Первый сатирик:

Вчера зашел я к нам в сберкассу

И видел там народа массу...

Второй сатирик:

А ты бы к Мейерхольду побежал,

Там публики ты б не застал.

В цирке очень любят обличать Мейерхольда. Там всегда про него поют обидные вещи.

Отдав долю современности и послужив кое-как отечеству, сатирики громко и радостно запевают, аккомпанируя себе на бычьих пузырях:

Первый сатирик:

Были ноги, как полено,

Стали юбки до колена...

Второй сатирик:

Теперь другой фасон взяли —

Носят юбки до земли.

Из-за этого куплета у певцов-сатириков были большие стычки с общественностью. Общественность требовала уничтожения этих строк ввиду отсутствия в них идейной направленности. Но сатирики стали на колени и со слезами заявили, что без куплетов о коварности наших дам они не берутся рассмешить зрителя и ни за что не выйдут на арену. Такие уж они люди — сатирики. Пришлось разрешить в порядке эксперимента.

Среди закулисных историй пользуется успехом такой анекдот. Знаменитому оперному артисту сказали:

— Послушайте, N., ведь вы форменный идиот.

— А голос? — ответил оперный артист.

И все развели руками. Возражать было нечего. Голос действительно был прекрасный.

Теперь, когда цирковым руководителям говорят:

— Послушайте, почему вы так вяло перестраиваетесь? Ведь это же форменный скандал!

— А доходы? — отвечают они.

И наиболее слабохарактерные люди разводят руками.

Доходы действительно большие.

1931

### «НЕСЧЕСТЬАЛМАЗОВВКАМЕННЫХ»[37]

В театрах готовятся премьеры. В полутемных залах за столиками сидят режиссеры. Артисты вполголоса бормочут свои роли. В фойе шьются костюмы и новый занавес. Месяц стоит декабрь. Идет сотая репетиция. А премьеры все нет, и афиши по-прежнему приглашают организованного и неорганизованного зрителя на «Садко», «Воскресение», «Сенсацию» и «Джонни наигрывает».

И покуда актеры по системе Станиславского, Мейерхольда, Таирова и другим системам, хорошим и подозрительным, вживаются в текст, покуда режиссеры чиркают карандашами под зелеными абажурами, а драматург добавляет новую сцену, где сознательный племянник перевоспитывает дядю, колеблющегося мракобеса из люмпен-интеллигенции, покуда все это происходит, по улицам мчатся в такси теадминистраторы и устроители сборных концертов.

У них нет никакой системы. И не за системой они гонятся, а за помещением.

И даже к помещению они не предъявляют особенных требований. Оно должно быть большое и по возможности с колоннами.

— Публика любит, чтобы было с колоннами, — говорят они. — А мы публику знаем, будьте покойны.

Закончив хлопотливые и сложные дела с помещением, электричеством, билетами и буфетом, устроители приступают к составлению программы.

Программа одна и та же вот уже десять лет, и составить ее совсем не трудно. Знать необходимо только одно — какого актера нужно поставить в афише с именем-отчеством, какого с одними только серенькими инициалами, а какого назвать просто по фамилии без инициалов, без имени и без отчества.

Просто — у рояля Левиафьян.

Это нужно знать твердо, как таблицу умножения. Иначе неприятностей не оберешься.

Поставишь неполный титул оперного певца, и все пропало. Он обидится и вместо «Несчестьялмазоввкаменных» будет петь романсы Шумана. А этого публика ужас как не



любит.

— Она любит «Не счесть алмазов в каменных», — говорят администраторы, задыхаясь. — Мы публику знаем.

И действительно, на всех сборных концертах поют песню индийского гостя. Даже если это вечер норвежской музыки. Даже если это спектакль, посвященный памяти Достоевского. Все равно. Администратор хватается толстенького тенора за атласную реверю и шепчет:

— Знаете, идеология и психология это, конечно, хорошо, но уж вы, пожалуйста, спойте им «вкаменных».

К арии добавляется художественное чтение актера с именем-отчеством, песни народностей в исполнении тоже имени-отчества, опереточный дуэт (инициалы), а для затравки — квартет имени такого-то. Иногда добавляется арфа, иногда — художественный свист.

Получается очень мило, а если помещение удалось выцыганить с колоннами, то к несомненному художественному успеху прибавляется также успех материальный.

Однако помпезность сборных гала-концертов, несомненно, падает. Нет в них прежней блистательности и красоты. Фантазия иссякла.

Была, правда, идея устроить грандиозный спектакль на стадионе «Динамо», с полетами смерти, чудесами пиротехники, столкновением поездов и с одновременным исполнением сразу двадцатью тенорами во фраках знаменитой арии «Несчестьялмазоввкаменных».

Чудесная была идея, но увяла где-то в коридорах ГОМЭЦ. Мельчает жизнь, мельчает сборное дело!

А ведь еще так недавно в 1 Госцирке был вечер шахматной мысли, так называемые живые шахматы.

Было так.

В двух ложах друг против друга сидели два шахматных маэстро в залатанных пиджачках. На арене в своих квадратах стояли живые шахматы (сплошь имена-отчества, цвет человечества). Королями, королевами и ладьями были народные артисты. В конях и слонах состояли заслуженные. И даже пешки — и те были знаменитые балерины и месереры. По гениальной мысли устроителя вечера, съеденная фигура должна была исполнять свой номер.

Шахматные маэстро приняли все дело всерьез и затеяли затяжную сицилианскую партию. К удивлению администратора, оказалось, что в шахматах фигуры выбывают из строя крайне медленно. Номера исполнялись с большими промежутками, и публика начала стучать ногами.

Поэтому уже через десять минут после начала партии в ложу маэстро ворвался администратор, крича:

— Идите с2.

— Что вы, — сказал маэстро, подымая затуманенную голову. — Гроссмейстер Акиба Рубинштейн в таких случаях советует с5.

— А я вам говорю, ставьте эту штуку на с2, — завизжал устроитель. — Сейчас Дмитрий Николаевич должен петь «вкаменных».

— Но я тогда открываю пешечный фланг.

— Ну и открывайте. Подумаешь, Капабланка! Сбор шестнадцать тысяч, а вы...

И он побежал к другому маэстро, чтобы убедить его подставить как можно скорее под удар своего короля (художественное чтение).

Замечательный был вечер. Шахматная мысль так и кипела. Маэстро махнули на все рукой, и вместо них доигрывали сицилианскую партию пом. администратора с кассиром, летал фейерверк, народная артистка выезжала на ученом ослике, месереры лихо отплясывали — вообще хорошо было, теперь такого уж нет. Иссякла фантазия.

А ведь есть великие возможности.

Можно в цирке поставить «Аиду». Партия Рамзеса исполняется в клетке со львами. Партию Аиды поет ученая зебра. В оперу можно вмонтировать лекцию проф. Канабиха «Проблема единственного ребенка», беседу писателя Б. Пильняка с читателями о том, как он жил в нью-йоркской гостинице, сцены из «Красного мака» и пьесы «Ярость» и, конечно, арию индийского гостя в исполнении математика Араго.

И если все это залить, как полагается в цирке, тремя миллионами литров воды так, чтобы профессор плавал в купальном костюме, то все было бы очень хорошо.

Администраторы говорят, что публика это очень любит.

1931

## ПРИМЕЧАНИЯ

### РАССКАЗЫ И ФЕЛЬЕТОНЫ (1929–1931)

Рассказы и фельетоны Ильфа и Петрова, собранные в этом томе, были написаны в трехлетний период, отделявший роман «Двенадцать стульев» от романа «Золотой теленок». Большая часть публикуемых здесь произведений впервые появилась на страницах еженедельного сатирического журнала «Чудак», в котором писатели сотрудничали на всем протяжении его существования, с декабря 1928 года по март 1930 года.

«Чудак» должен был, по замыслу его создателей, быть одинаково далек и от мещанского зубоскальства, и от брюзгливого гримасничания скептиков, нытиков, маловеров. Сообщая А. М. Горькому о предстоящем выходе первого номера, редактор нового журнала М. Кольцов писал: «Название „Чудак“ взято не случайно. Мы как перчатку подбираем это слово, которое обыватель недоуменно и холодно бросает, видя отклонение от его, обывателя, удобной тропинки: „Верит в социалистическое строительство, вот чудак! Подписался на заем, вот чудак! Пренебрегает хорошим жалованьем, вот чудак!“ Мы окрашиваем пренебрежительную кличку в тона романтизма и бодрости. „Чудак“ — представляет не желчную сатиру, он полнокровен, весел и здоров». В ответном письме Горький горячо поддержал начинание «бодрых духом чудодеев» и, выразив надежду, что журнал «отлично оправдает знаменательное имя свое», прислал для опубликования сатирическую заметку «Факты. I», подписанную псевдонимом Самокритик Словотеков. (Переписка А. М. Горького и М. Е. Кольцова, «Новый мир», 1956, № 6, стр. 150–151.)

В «Чудаке» выступали Владимир Маяковский и Демьян Бедный. Постоянно сотрудничали писатели В. Катаев, М. Зощенко, Ю. Олеша, М. Светлов, Л. Никулин, Б. Левин, бр. Тур, Е.

Зозуля, В. Ардов, А. Зорич, Г. Рыклин, художники — Кукрыниксы, А. Радаков, К. Ротов, Б. Ефимов, И. Малютин, В. Козлинский и др. Часто печатались в журнале фельетоны его редактора М. Кольцова.

На страницах «Чудака» Ильф и Петров опубликовали около семидесяти произведений. Это были циклы сатирических новелл, фельетоны, рассказы, написанные ими вместе и порознь.

Тематика этих произведений — обличение мещанства, подхалимства, бюрократизма, бескультурья — соответствовала целям и задачам журнала. В пятом номере «Чудака» за 1929 год В. Маяковский опубликовал стихотворение «Мрачное о юмористах», в котором писал:

В километр

жало вызей

против всех,

кто зря

сидят

На труде,

На коммунизме!

Своими выступлениями Ильф и Петров во многом содействовали осуществлению боевой программы «Чудака».

Совместные произведения сатирики подписывали псевдонимами: Ф. Толстоевский, Дон Бузильо, Коперник, Виталий Пселдонимов. Объясняя их происхождение, они писали в предисловии к сборнику «Как создавался Робинзон» («Молодая гвардия», М. 1933): «Такой образ действий был продиктован соображениями исключительно стилистического свойства, как-то не укладывались под маленьким рассказом две громоздких фамилии авторов». Необходимо, однако, помнить и другое. Нередко в одном и том же номере журнала появлялись сразу два, а то и три произведения Ильфа и Петрова. В этом случае псевдоним тоже становился необходим. Кроме того, некоторые фельетоны, а также много веселых шуток и остроумных заметок для календаря «Чудака», вероятно принадлежащих Ильфу и Петрову, выходили без подписи. Определение их авторства еще является дальнейшей задачей исследователей.

Редактор «Чудака» М. Кольцов очень дорожил участием в журнале Ильфа и Петрова. Еще с 1927 года писатели начали сотрудничать в редактируемом Кольцовым журнале «Огонек». Там печаталась повесть Ильфа и Петрова «Светлая личность» и отдельно написанные авторами фельетоны и рассказы. В библиотеке «Огонька» вышли сборник рассказов Петрова «Всеобъемлющий зайчик» (1928) и главы из романа «Двенадцать стульев» (1929). Начав активно выступать в «Чудаке», Ильф и Петров не порывали связей с «Огоньком». В 1930–1931 годах в этом журнале часто появлялись рассказы и фельетоны Ф. Толстоевского. Многие из них печатались на сатирической страничке «Огонька» — «Шутки в сторону».

В «Чудаке» Ильф и Петров участвовали не только как авторы. Петров вел отдел юмористической смеси «Веселящий газ», Ильф занимался подборкой материала для отдела критики «Рычи — читай», шутливо переименовав название популярной в 20-е годы пьесы С.

Третьякова «Рычи Китай».

Одной из форм выступлений сатириков в «Чудаке» были рецензии-фельетоны в театральном отделе журнала. Здесь высмеивались плохие спектакли, халтурные представления в цирке и на эстраде, неудачные фильмы. В этом отделе печатались рецензии и других авторов, но всегда под одной общей рубрикой «Деньги обратно». Свои произведения в этом отделе Ильф и Петров постоянно подписывали псевдонимом Дон Бузильо, который исчез вместе с последним номером «Чудака». В дальнейшем писатели больше им не пользовались. Но мысли, которые высказывались в этих фельетонах, имели для них важное, принципиальное значение. Ильф и Петров еще не раз возвращались к ним, выступая по конкретным вопросам театра, эстрады, цирка на страницах газеты «Советское искусство» (фельетоны «Человек в бутцах», «И снова ахнула общественность», «Так принято» и др.) и позднее в циклах фельетонов о литературе в «Литературной газете» и «Правде». Легко установить преемственность этих произведений и с более ранними фельетонами Ильфа и Петрова об искусстве, которые были написаны ими раздельно (И. Ильф — «Неразборчивый клинок», газета «Кино», 1925, № 37, 1 декабря; Е. Петров — «Непогрешимая формула», «Чудак», 1929, № 7).

Это была единая линия борьбы против халтуры, пошлости, против мещанского, нэпманского искусства.

На всем протяжении 20-х годов в советской литературе не прекращались диспуты о судьбах сатиры в советское время.

И. Ильф и Е. Петров не могли не принять участия в этих спорах, так как это был принципиальный вопрос для их творчества. Противники советской сатиры утверждали, что сатирическая традиция в условиях диктатуры пролетариата «оборвалась», что смех — это «ненужный физиологический придаток» («Литературная газета», 1929, № 6, 27 мая и 1930, № 2, 13 января). В своих произведениях Ильф и Петров часто в остро пародийной форме выступали против тех «строгих граждан», которые считали, что «смех вреден», что «сатира не может быть смешной» (см. предисловие от авторов к роману «Золотой теленок», фельетон «Волшебная палка» и т. д.).

Рассказы и фельетоны этого периода, напечатанные в «Чудаке», «Огоньке», «Советском искусстве», создавались одновременно с «Золотым теленком». Некоторые темы и образы этих произведений непосредственно вошли в роман.

Рассказы и фельетоны этого тома датируются по первой публикации и располагаются в хронологическом порядке. В произведениях, ранее включавшихся в сборник «Как создавался Робинзон», «Советский писатель», М. 1935, авторами указана дата и место первой публикации. В Собрании сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939, эта датировка сохраняется. Авторская датировка некоторых произведений неточна и исправляется, так как установлена более ранняя или более поздняя дата первой публикации. Такие случаи особо оговариваются.

Многие рассказы и фельетоны этого периода впервые были собраны в сборнике «Как создавался Робинзон», «Молодая гвардия», М. 1933. Впоследствии они неоднократно переиздавались в сборниках рассказов и фельетонов Ильфа и Петрова.

Тексты произведений, входящих в этот том, сверены со всеми публикациями, осуществленными при жизни авторов.

Примечания к рассказам и фельетонам (1929–1931) написаны Б. Е. Галановым.

## Примечания

1

Призрак-любитель. — Впервые опубликован в журнале «Чудак», 1929, № 42. Подпись: Ф. Толстоевский.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, том III, «Советский писатель», М. 1939.

2

Под знаком Рыб и Меркурия. — Впервые опубликован в журнале «Чудак», 1929, № 44. Подпись: Ф. Толстоевский.

Печатается по тексту сборника «Как создавался Робинзон», «Советская литература», М. 1933.

3

Авксентий Филосопуло. — Впервые опубликован в журнале «Огонек», 1929, № 44. Подпись: Ф. Толстоевский.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, том III, «Советский писатель», М. 1939. В этом издании и в сборнике «Как создавался Робинзон», «Советский писатель», М. 1935, рассказ ошибочно датируется 1930 годом.

4

Гибельное опровержение. — Впервые опубликован в журнале «Чудак», 1929, № 47, Подпись: Ф. Толстоевский. Рассказ не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «Чудак».

5

Высокое чувство. — Впервые опубликован в журнале «Чудак», 1930, № 3. Подпись: Ф. Толстоевский. Печатается по тексту журнала.

6

Довесок к букве «Щ». — Впервые опубликован в журнале «Огонек», 1930, № 16. Подпись: Ф. Толстоевский.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, том III, «Советский писатель», М. 1939.

7

Мы Робинзоны. — Очерк впервые опубликован в журнале «Огонек», 1930, № 16, под псевдонимом: Ф. Толстоевский. Написан после поездки Ильфа и Петрова на Турксиб в апреле — мае 1930 года. Очерк не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «Огонек».

8

Турист-единоличник. — Впервые опубликован в журнале «Огонек», 1930, № 17. Подпись: Ф. Толстоевский. Рассказ не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «Огонек».

9

На волосок от смерти. — Впервые опубликован в журнале «Огонек», 1930, № 20, под названием «Я вас не укушу». Подпись: Ф. Толстоевский. Под названием «На волосок от смерти» включался в сборник: «Как создавался Робинзон», «Советская литература», М. 1933.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, том III, «Советский писатель», М. 1939.

10

Титаническая работа. — Впервые опубликован в журнале «Огонек», 1930, № 20. Подпись: Ф.

Толстоевский. Рассказ не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «Огонек».

11

Я себя не пощажу. — Впервые опубликован в журнале «Огонек», 1930, № 28. Подпись: Ф. Толстоевский. Рассказ не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «Огонек».

12

Обыкновенный икс. — Впервые опубликован в журнале «Огонек», 1930, № 30. Подпись: Ф. Толстоевский.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, том III, «Советский писатель», М. 1939.

13

Граф Средиземский. — Впервые опубликован в журнале «Огонек», 1957, № 23. При жизни авторов рассказ не был напечатан. По-видимому, «Граф Средиземский» написан Ильфом и Петровым в 1930–1931 годах.

Печатается по тексту оригинала, хранящегося в ЦГАЛИ (620, 123).

14

«Чубаровцы» — шайка бандитов, орудовавших в 1926 году в Ленинграде, в Чубаровом переулке. После открытого судебного процесса над чубаровцами слово это стало употребляться в нарицательном смысле.

15

Пташечка из Межрабпомфильма. — Впервые опубликован в журнале «Чудак», 1929, № 14, под рубрикой «Деньги обратно». Подпись: Дон Бузильо. Фельетон не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «Чудак».

«Веселая канарейка». — Выпуск «Межрабпомфильма», 1929. Режиссер Л. Кулешов. Сценарий Б. Гусмана и А. Мариенгофа.

24 марта 1929 года газета «Известия» писала по поводу фильма «Веселая канарейка»: «В этой картине все фальшиво и вульгарно, в особенности фигуры большевиков, которые, находясь в подполье, изображают собой блестящих князей и офицеров. Действие относится ко времени оккупации Одессы французскими войсками. Большевик-„князь“ спасает своего товарища большевика-„офицера“ от контрразведки, используя чары кафешантанной дивы Брио. Чем меньше будет таких картин на советском экране, тем лучше».

Так же оценивался фильм «Веселая канарейка» в газете «Кино» (1929, № 11, 12 марта): «Эпизод подпольной борьбы красных с белыми — только неизбежный повод для изображения в веселых канареечных тонах галантной жизни белогвардейских контрразведчиков... Фильма не становится революционной от того, что показанная в ней кабацкая и светская жизнь поставлена в какую-то связь с революционной борьбой».

Ваша фамилия. — Впервые опубликован в журнале «Чудак», 1929, № 16, под рубрикой «Деньги обратно». Подпись: Дон Бузилио. Фельетон не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «Чудак».

В театральном отделе журнала «Чудак» неоднократно появлялись критические реплики в адрес московского Мюзик-Холла, который в выборе репертуара и в стиле постановок часто воскрешал худшие традиции буржуазного «ревю». Так, например, в № 47 за 1929 год в рецензии «Портные „Синей блузы“» было напечатано: «В помещении цирка Мюзик-Холла 18 ноября выступали коллективы „Синей блузы“. Это многострадальное помещение, которое вынуждено вот уже второй год терпеть ежедневные обозрения Мюзик-Холла, на этот раз отдохнуло. Выступление „Синей блузы“ свежее и интереснее, нежели многокрасочная и оголенная халтура Мюзик-Холла».

1001-я деревня. — Впервые опубликован в журнале «Чудак», 1929, № 41. Подпись: Дон Бузилио. Фельетон не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «Чудак».



«Старое и новое» (первоначальное название «Генеральная линия»). — Выпуск «Совкино», 1929. Сценарий и режиссура С. Эйзенштейна и Г. Александрова. Работа над фильмом велась несколько лет. В первоначальном варианте фильм «Генеральная линия» был закончен в апреле 1929 года. Однако на экраны он не вышел в связи с тем, что нуждался в серьезной доработке (см. заметку «Выпуск „Генеральной линии“ отложен» в газете «Кино», 1929, № 14, 2 апреля). В новом варианте эта картина получила название «Старое и новое».

В редакционной статье от 13 октября 1929 года «Правда» отмечала, что отдельные эпизоды сняты Эйзенштейном с большим художественным мастерством, но в целом в новом фильме мало показана классовая борьба в деревне, организующая и направляющая работа партии: «Как борется новое со старым, как перерождаются вековые, собственнические навыки на новые социалистические, как строится новая коллективная жизнь, этот „великий путь“ недорисован в картине».

20

Бледное дитя века. — Впервые опубликован в журнале «Чудак», 1929, № 43. Подпись: Ф. Толстоевский.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, том III, «Советский писатель», М. 1939.

21

Великий лагерь драматургов. — Впервые опубликован в журнале «Чудак», 1929, № 44. Подпись: Дон Бузильо.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, том III, «Советский писатель», М. 1939.

22

Праведники и мученики. — Впервые опубликован в журнале «Чудак», 1929, № 45, под рубрикой «Деньги обратно». Подпись: Дон Бузильо.

Печатается по тексту журнала «Чудак».

23

«Турксиб». — Выпуск «Востоккино», 1929. Режиссер В. Турин. Сценарий В. Турина, А. Мачерета, В. Шкловского, Е. Арона. «Обломок империи». — Выпуск «Совкино», 1929. Режиссер Ф. Эрмлер. Сценарий К. Виноградской и Ф. Эрмлера. Оба фильма прошли на

экранах с большим успехом и были высоко оценены критикой.

24

Московские ассамблеи. — Впервые опубликован в журнале «Чудак», 1929, № 46. Подпись: Ф. Толстоевский.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, том III, «Советский писатель», М. 1939.

25

Полупетуховщина. — Впервые опубликован в журнале «Чудак», 1929, № 50, под рубрикой «Деньги обратно». Подпись: Дон Бузильо.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, том III, «Советский писатель», М. 1939.

В романе «Золотой теленок» (см. главу «Васисуалий Лоханкин и его роль в русской революции») вновь появляются герои этого фельетона. Рассказывая, какую сенсацию вызвала во всем мире находка летчиком Севрюговым пропавшей без вести иностранной экспедиции, шедшей к Северному полюсу, авторы добавляли: «Старые московские халтурщики Усышкин-Вертер (в первой публикации фельетона эта фамилия фигурировала вместо Луврие. —

Б. Г. ), Леонид Трепетовский и Борис Аммиаков, издавна практиковавшие литературный демпинг и выбрасывавшие на рынок свою продукцию по бросовым ценам, уже писали обозрение под названием: „А вам не холодно?“»

26

Волшебная палка. — Впервые опубликован в журнале «Чудак», 1930, № 2, под рубрикой «Уголок изящной словесности». Подпись: Дон Бузильо. Фельетон не переиздавался. Печатается по тексту журнала «Чудак».

Диспут «Нужна ли нам советская сатира?» состоялся 8 января 1930 года в Политехническом музее (см. «Литературная газета», 1930, № 2, 13 января). На диспуте выступили В. Маяковский, М. Кольцов, Е. Петров, Е. Зозуля и др.

27

В. И. Блюм — критик. В своем выступлении на диспуте он доказывал, что «...сатира нам не

нужна. Она вредна рабоче-крестьянской государственности... Понятие „советский сатирик“ включает непримиримое противоречие. Оно также нелепо, как понятие „советский банкир“ или „советский помещик“».

28

Мала куча — крыши нет. — Впервые опубликован в журнале «Чудак», 1930, № 4. Подпись: Виталий Пселдонимов. Фельетон не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «Чудак».

29

Пьеса в пять минут. — Впервые опубликован в журнале «Чудак», 1930, № 6. Подпись: Ф. Толстоевский. Фельетон не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «Чудак».

30

Халатное отношение к желудку. — Впервые опубликован в журнале «Огонек», 1931, № 27. Подпись: Ф. Толстоевский.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, том III, «Советский писатель», М. 1939. В этом издании и в сборнике «Как создавался Робинзон», «Советский писатель», М. 1935, фельетон ошибочно датируется 1932 годом.

31

Секрет производства. — Впервые опубликован в «Киногазете», 1931, № 56, 12 октября. Подпись: Ф. Толстоевский.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. III, «Советский писатель», М. 1939. В этом издании и в сборнике «Как создавался Робинзон», «Советский писатель», М. 1935, фельетон ошибочно датируется 1932 годом.

32

И снова ахнула общественность. — Впервые опубликован в газете «Советское искусство»,

1931, № 56, 28 октября. Подпись: Ф. Толстоевский.

Печатается по тексту сборника «Как создавался Робинзон», «Советская литература», М. 1933.

В газете фельетон напечатан в подборке материалов под общей рубрикой «Второе рождение граммофона». Газета информировала читателей, что советские фабрики начали изготавливать новые портативные граммофоны-чемоданы (патефоны). Одновременно пересматривался и расширялся репертуар существующих грамзаписей. Газета подчеркивала, что в связи с этими мероприятиями граммофон станет важным средством культурной пропаганды.

33

Нобиле Умберто — итальянский конструктор дирижаблей и полярный исследователь. В 1928 году возглавил итальянскую экспедицию к Северному полюсу на дирижабле «Италия». На обратном пути дирижабль потерпел аварию. Историческая заслуга в спасении участников экспедиции принадлежала советскому ледоколу «Красин».

34

Любители футбола. — Впервые опубликован в журнале «Огонек», 1931, № 30, под названием «Сильное чувство». Подпись: Ф. Толстоевский. Под тем же названием включался в сборник: «Как создавался Робинзон», «Молодая гвардия», М. 1933. Под названием «Сердце болельщика» вошел в сборник «Как создавался Робинзон», «Советская литература», М. 1933, и «Как создавался Робинзон», «Советский писатель», М. 1935. Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, том III, «Советский писатель», М. 1939. В этом и предыдущем издании фельетон ошибочно датируется 1932 годом.

35

Король-солнце. — Впервые опубликован в газете «Советское искусство», 1931, № 57, 5 ноября. Подпись: Ф. Толстоевский. Фельетон не переиздавался.

Печатается по тексту газеты «Советское искусство».

36

Так принято. — Впервые опубликован в газете «Советское искусство», 1931, № 59, 20 ноября. Подпись: Ф. Толстоевский.

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, том III, «Советский писатель», М. 1939.

В газете фельетон печатался вместе с подборкой материалов о работе советского цирка. Редакция резко выступала против пошлости и шаблона на цирковой арене, против воскрешения стародавних традиций дореволюционных цирков. В том же номере «Советского искусства» публиковалось постановление Коллегии Наркомпроса за подписью Наркома Просвещения А. Бубнова, в котором говорилось, что «неумение сочетать дело политического просвещения с занимательной, красочной и художественной формой все еще в значительной степени характеризует деятельность цирков, мюзик-холлей, эстрады и т. д.».

37

«Несчестьялмазоввкаменных». — Впервые опубликован в газете «Советское искусство», 1931, № 63, 10 декабря. Подпись: Ф. Толстоевский. Фельетон не переиздавался.

Печатается по тексту газеты «Советское искусство».